1861
Вокруг Света
WWW.VOKRUGSVETA.RU

Борис Стругацкий

представляет альманах фантастики

ПОЛДЕНЬ XXI ВЕК

Переписчик

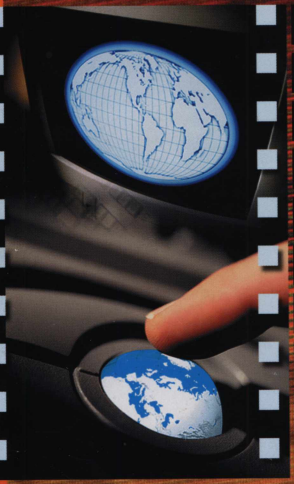
апрель
2009

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 30 РУБЛЕЙ

ISSN 977-172784500-7
9 771727 845007

Все познается в сравнении

Вокруг света –
первый познавательный портал
http://www.vokrugsveta.ru



Телеграф
В режиме on-line

Новости
Вместе со временем

Издания
Наши проекты

ТВ
Весь мир

Энциклопедия
Интерактивный ресурс

Магазин
Продукция издательства

Фотобиблиотека
Объективно

Форум
Общение на равных

Клуб ВС
Почетные читатели

Карта
Регионы и страны мира

1861

ВОКРУГ СВЕТА

www.vokrugsveta.ru

REKLAMA

ПОДПИСКА

Объединенный каталог «ПРЕССА РОССИИ». Индексы:

41700 – «Вокруг Света», годовая подписка;
84702 – «Вокруг Света», годовая льготная подписка;
41505 – «Вокруг Света», полугодовая подписка;
84701 – «Вокруг Света», полугодовая льготная подписка;
84704 – «Полдень. XXI век», годовая подписка;
84705 – «Полдень. XXI век», годовая льготная подписка;
83248 – «Полдень. XXI век», полугодовая подписка;
84703 – «Полдень. XXI век», полугодовая льготная подписка;
84707 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», годовая подписка;
84708 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», годовая льготная подписка;
83249 – комплект «Вокруг Света» + «Полдень. XXI век», полугодовая подписка;
84706 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», полугодовая льготная подписка;

Каталог «Газеты. Журналы. Агентство «РОСПЕЧАТЬ». Индексы:

80650 – «Вокруг Света», годовая подписка;
83321 – «Вокруг Света», годовая льготная подписка;
80475 – «Вокруг Света», полугодовая подписка;
83320 – «Вокруг Света», полугодовая льготная подписка;
83324 – «Полдень. XXI век», годовая подписка;
83323 – «Полдень. XXI век», годовая льготная подписка;
84170 – «Полдень. XXI век», полугодовая подписка;
83322 – «Полдень. XXI век», полугодовая льготная подписка;
83624 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», годовая подписка;
83625 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», годовая льготная подписка;
83084 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», полугодовая подписка;
83623 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», полугодовая льготная подписка;

Каталог российской прессы «ПОЧТА РОССИИ». Индексы:

99440 – «Вокруг Света», годовая подписка;
12464 – «Вокруг Света», годовая льготная подписка;
99118 – «Вокруг Света», полугодовая подписка;
12463 – «Вокруг Света», полугодовая льготная подписка;
12466 – «Полдень. XXI век», годовая подписка;
12467 – «Полдень. XXI век», годовая льготная подписка;
10853 – «Полдень. XXI век», полугодовая подписка;
12465 – «Полдень. XXI век», полугодовая льготная подписка;
12469 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», годовая подписка;
12470 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», годовая льготная подписка;
10854 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», полугодовая подписка;
12468 – комплект «Вокруг Света»+«Полдень. XXI век», полугодовая льготная подписка;

Льготная подписка действительна для предъявителей подписного купона за предыдущий период

1861
ВОКРУГ СВЕТА

РЕКЛАМА

Борис Стругацкий

представляет альманах фантастики

ПОЛДЕНЬ
XXI ВЕК

АПРЕЛЬ
2009

ПЕРЕПИСЧИК

ВОКРУГ СВЕТА

УДК 312.9

ПОЛДЕНЬ, XXI век
ПЕРЕПИСЧИК

Главный редактор
Борис Стругацкий
www.rusf.ru/abs
e-mail: BStrugatsky@vokrugsveta.ru

Учредитель и издатель:
ООО «Издательство "ВОКРУГ СВЕТА"»
129515, Москва, а/я 6
e-mail: vokrugsveta@vokrugsveta.ru

Размещение рекламы РА «Видео Интернешнл-пресс»:
просп. Вернадского, 53, тел.: (495) 785 55 06, 984 63 14, факс (495) 974 62 52.

Распространение продукции «ВОКРУГ СВЕТА» ООО «ВС-Торговая компания»:
тел.: (495) 781 69 47, тел./факс (495) 781 69 48, vs-d@vokrugsveta.ru.

Распространение и подписка
ЗАО «Межрегиональный Дистрибьютор Прессы «МААРТ»:
тел. (495) 744 55 12. e-mail отдела продажи: sl@maart.ru
e-mail отдела подписки: podpiska@maart.ru

Юридическое сопровождение
ООО «Правовое бюро «Омега»:
тел. (495) 232 49 51

Тираж сертифицирован
Национальной Тиражной Службой

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ 77-16622 от 10 октября 2003 г.
Изд.лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98
Подписано в печать 06.03.09. Формат 84 x 108 1/32
Гарнитура журнальная. Печ. л. 5.5. Тираж 24 750
Заказ № 521
ОАО «Типография "Новости"»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

ISBN 978-5-98652-238-8

Адрес редакции:
199053, Санкт-Петербург,
1-я линия В.О., д. 28
Тел./факс (812) 328 63 29
e-mail: polden@vokrugsveta.ru

Информационная поддержка:
Александр Сидорович
(«ИНТЕРПРЕССКОН»)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тексты принимаются в формате RTF на дискетах
или по электронной почте: polden@vokrugsveta.ru

© Текст, составление, оригинал-макет – ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА», 2009

Колонка дежурного по номеру

На этот раз почти ничего такого инопланетного. Сюжеты уходят в пространство не дальше Луны.

И ничего такого антиутопического. Время действия в представленных произведениях не особенно отличается от наших дней. Политический строй, как погода, — остается за окном, на улице, авторам не до него, персонажам тоже наплевать.

Тем не менее, социалистическая цензура запретила бы этот номер наповал, безоговорочно: за субъективный идеализм. Ну и за попытку протащить в картину мира Непонятное. Чуть ли даже не Потустороннее. Такая уж подобралась проза. Почти исключительно про то, чего не может случиться, поскольку не случалось никогда.

В одной из этих небольших повестей даже предсказан конец света. И назначен срок. С точностью до года. Якобы недолго ждать. То есть может показаться, что фантастика тут выдвинулась на прозрачную границу с мистикой. И промышляет контрабандой. Разные нелегалы суетятся: вампиры, там, таинственные двойники. Однако ужаса не наводят: слишком очевидно искусственное их происхождение. Отродья ума, олицетворенные выводы из логических парадоксов.

Мистика все упрощает: сводит законы Вселенной к правилам романтическогоискусства.Кбесконечнойконтр-террористической операции: мораль против страстей — в области, так сказать, отрицательных величин. И / или мнимых, смотря как считать.

Логически же настроенному рассудку задана задачка посложней. От которой он всячески пытается увернуться, чтобы не потеряться в самом себе. Он ведь у нас материалист. Стихийный. Но не может же не видеть — не может не чувствовать, что реальность не исчерпывается генеральным каталогом тел и волн. Нечто очень (если не самое) важное, нечто в высшей степени реальное — не имеет с материей ничего общего. Эта штука называется Время.

Умозрительная, знаете ли, категория. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Не причиняет физической боли. (Зато, увы, причиняет смерть.) И доступно лишь воображению. Подкрепляемому, впрочем, теорией вероятностей.

Но вроде бы имеется в человеческом мозгу один участочек, где время как бы овеществлено. Представлено противовесом (как в лифте или подъемном кране) — т. н. памятью.

И тут открывается возможность обратной связи. Если, например, отключить память — не остановится ли время. Или, наоборот, кабина лифта пробьет крышу и улетит вместе с ней. Чем не сюжет.

Самуил Лурье

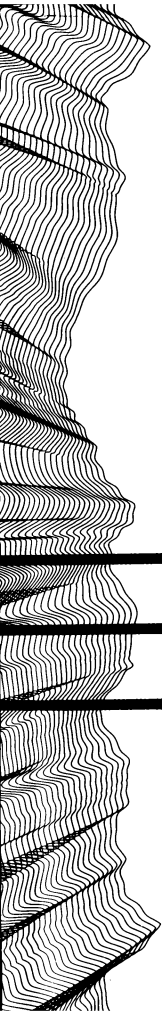
«Издательство «ВОКРУГ СВЕТА»
Генеральный директор Леонид Наумов
Директор по производству Евгений Колесов
Главный художник Юрий Токарев
PR-менеджеры Георгий Немцев, Лейла Умерова
Менеджер по распространению Юлия Лысова
Художники: Николай Панин, Александр Лебедев, Николай Новотный
Иллюстрация на обложке Николай Панин
Дизайнеры: Елена Кузянина, Станислав Новиков
Технологи: Сергей Дудин, Сергей Соловьев, Сергей Цветков
Координатор Елена Сапожкова

Редакция:
Александр Житинский, зам. главного редактора
AZhitinsky@vokrugsveta.ru
Николай Романецкий, отв. секретарь
NRomanetsky@vokrugsveta.ru
Самуил Лурье, редактор отдела прозы
SLurie@vokrugsveta.ru
Елена Минина, редактор отдела критики
EMinina@vokrugsveta.ru
Надежда Бельская, зав. редакцией
polden@vokrugsveta.ru

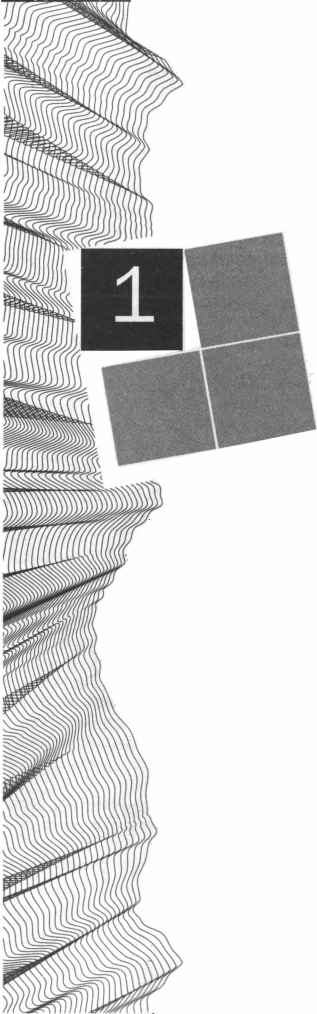
Общественный Совет при журнале:
Андрей Измайлов
www.mo-nast.ru
Святослав Логинов
www.rusf.ru/loginov
Евгений Лукин
www.rusf.ru/lukin
Сергей Лукьяненко
www.rusf.ru/lukian
Сергей Переслегин
okh.nm.ru
Вячеслав Рыбаков
www.rusf.ru/rybakov
Михаил Успенский
www.list.krasline.ru/writers/uspensk
Александр Щёголев
www.litcenter.spb.su/seminar/schegolev

ПОЛДЕНЬ XXI ВЕК

АПРЕЛЬ (52) 2009



Истории
Образы
Фантазии


1

ЮРИЙ ГУЗЕНКО

Переписчик

Повесть[1]

Предупреждение.
Если кто-нибудь узнает себя в прочитанном, пусть не удивляется: это не он.

Автор

Глава 1-я

…благодать! Откуда словечко всплыло? Но, блин, в тему. Когда весна переходит в лето, а листья на деревьях совсем не устали, а метёлки ковыльные не жёлтые и пыльные, как в августе, а сочненькие такие, бархатные — тогда даже разбитым кирзачам прощаешь их дурацкое существование. Пусть даже говнодавы эти, сорок пятого калибра, находятся на твоих собственных многострадальных лапах. И иду я себе не торопясь, бляха ремня где-то в районе совсем ниже пояса, топочу расхлябанно в зелёной траве по колено и сшибаю изумрудные метёлки подобранным прутиком. Обед приятно улёгся в желудке, без пошлой тяжести — греет пузо, аки солнышко. Повара-узбеки, Равшан и Сайдуло, сегодня плов делали.

Я ж говорю, — благодать!

Интересно, Димыч опять в космосе? Или таки ж сподобился навоз убрать? Димка — мой друг. Я к нему иду, на свинарник. Димку мало кто по имени называет. Да и вообще помнит его имя. Товарищи-офицеры, если матюги опустить, говорят просто: «Рядовой Смольский, твою мать, где ты опять, мля, летаешь?!» Остальные Димку называют Марсианином.

Второе своё имя — Марсианин — Димка год назад заработал. Готовили нас к первым ночным стрельбам. Боевыми. Приказ о необходимости «катафотирования личного состава» — где-то в Забайкалье салабон, якобы случайно, сержанта

[1] Журнальный вариант.

подстрелил, — довели сначала на общем построении полка, потом отдельно комбатам и ротным, потом... «Катафотирование» — это чтобы на спине и груди каждого воина размещались катафоты, вроде велосипедных, но крупнее. Чтоб друг друга во тьме не пострелять, в общем. Непосредственно в день выезда на полигон наш батя, полковник Багров, построил всех на плацу и лично, с ударениями, проникновенно прочитал текст, который каждому из нас был знаком до буковки. До тошноты. До ночных кошмаров. Но полкану этого показалось мало, он пошёл вдоль первых шеренг, заглядывая стоящим в глаза и спрашивая: «Ты усё, сынок, понял?». Смольский, тогда ещё младший командир, стоял рядом со мной. Тоже в первой шеренге. Полковник Багров вообще дядька нормальный. Дембель, ему до пенсии дослужить — совсем чуть. И вот он подходит к ефрейтору Смольскому и спрашивает: «Ты усё, сынок, понял?». Смольский в это время находился как раз примерно на орбите Плутона. Вопрос застал Диму врасплох, и он тупо брякнул: «А?». Полковник Багров, крепенький, кругленький, бочоночек на ножках, терпеливо повторил: «О необходимости светоотражающего катафотирования личного состава при проведении ночных стрельб, сынок, ты усё понял?!». И тогда Дима, ростом головы на полторы выше бати, нагнулся, широко раскрыл свои серые с поволокой глаза, пристально, словно пытаясь узнать, но, не узнавая, вгляделся в лицо Багрова и задумчиво спросил: «О чём это, собственно, вы, господин полковник?».

Лычки с Димы за «господина» сняли, но даже из комсомола забыли исключить. И сослали на полковой свинарник. Хотя, ха, — «сослали». У нас о такой ссылке мечтают многие. Но неизвестно кем брошенное «марсианин» так к Смольскому и прилипло. Навсегда.

***

Ёлы-палы, если бы я только знал, что происходит в это время на свинарнике. Не шёл бы, щурясь на солнышко и сыто порыгивая, не рубил бы ковыльи головы. Бежал бы. Летел. Орал. Всё, что угодно. Только теперь-то уже чего?

Теперь поздно.

***

Свинарник полковой находится в старом бараке бывшей казармы. Казарма, сооруженная ещё во времена великого маньчжурского стояния против милитаристской Квантунской армии,

вполне продержится ещё лет пятьдесят. Несмотря на свиней. Несмотря даже на Марсианина. Раньше умели строить.

Взять хотя бы такую же древнюю караульную вышку. Она рядом со свинарником стоит. В тридцатые годы зоркие орлы-пограничники обозревали со стройной и крепкой металлической конструкции китайскую территорию: а не крадутся ли к нам раскосые самураи? Сейчас вышка напоминала согнутую ревматизмом внучатую племянницу Пизанской башни. Это потому, что каждый новый замполтыу обязательно старался старушку уничтожить. Нарушала она композиционную эстетику свинарника, что ли?

Человечество вообще, а нашу армию в частности, погубит неумолимое стремление к бардаку. Всё чего-то не рассчитаем, не продумаем, недоглядим, забудем. В полковой хозроте, к которой относится владение Марсианина, забыли быка Борю. Точнее, о его существовании забыли. В соответствующие сроки не пустили на доппаёк семьям офицеров и на приварок — что останется нам, срочнослужащим. На свинарнике, на вольных выпасах вошёл Боря в силу, к двум годам превратившись в жуткую наглую скотину. Ростом в холке метра два и весом, наверное, центнеров восемь. Или больше. Любимым развлечением Бори было подкараулить какого-нибудь расслабившегося вояку и гнать его в поля, подбадривая тычками громадного лбища. И хорошо, если в поля. Иногда он загонял жертву к складам РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) или танковому парку. А там запретка. Там колючая проволока. Там киргизы с автоматами в карауле. Им по фигу, в кого стрелять. Про Борю складывали в полку и окрестных деревнях страшные сказки и придумывали чернушные анекдоты. Киргизы на Борю, кажется, вообще молились.

Так бы и жил бычара, нагуливая силу богатырскую, да подвела его дремучая неграмотность. Ему все равно: чистые у тебя погоны, с лычками или в полковничьих звёздах. Боря не знал основы советской армии — субординации. И именно сегодня, когда я ещё только ожидал узбекский плов, начальник штаба, полковник Акулов, нагрянул на свинарник с проверкой. Один и без охраны. Внезапно. Акулов почему-то недолюбливал Марсианина.

Вообще в это время Боря обычно в полях пасётся. Но день выдался необычайно жарким, и бык прилёг, скучая, в тени свинарника. Акулов вылетел из-за угла и чуть не наступил быку на голову. Такого оскорбления Боря стерпеть не мог.

Из подпространства на планету Земля, в полковой свинарник, Марсианина выдернул какой-то на редкость неприятный звук. На одной ноте, нет, не сирена — вой. Вот на что это

походило. Собственно это и был — вой. Иногда вой прерывался низким вибрирующим металлическим гулом. Марсианин вышел из бытовки, прищурился на яркое местное светило и поглядел на вышку. На самой её верхотуре, наклонившейся в сторону недалёкого Китая, определённо кто-то сидел. Этот кто-то выл всякий раз, когда разъярённый Боря с разбегу бил лобешником в основание конструкции. «Ага, — подумал Марсианин, — вон оно что гудит». Повернулся и ушёл назад. В бытовку.

Утихомирить Борю можно было одним способом: взяткой. Мзду гордый представитель семейства говяжьих принимал только солдатским сахаром. За сахаром Марсианин и пошёл. Он у него в тумбочке лежал. Но Акулов же этого не знал! Увидев, что чёртов свинарь уходит, полковник взвыл так жутко, что Боря замешкался и сбился с ритма. Вышка перестала гудеть и вибрировать. Тут как раз вернулся Марсианин с пачкой сахара и предложил быку подкрепиться. Боря мотнул страшной башкой и потрусил к угощению. Он, в самом деле, немного устал.

В принципе пачку сахара Боря мог слизнуть на раз. Вместе с гуманоидом, который её держал. Но ему нравилось растягивать удовольствие: аккуратно брал с ладони губами кусочек, перекатывал его туда-сюда языком по драконьей пасти и шумно сглатывал. И пока бык повышал содержание глюкозы в молодом организме, Марсианин, обращаясь к висящему на вышке телу, выразился в том смысле, что уважаемый может поступать, как ему заблагорассудится, может даже сидеть на вышке сколько угодно долго; но уважаемому должно быть понятным, что как только сахар закончится, а закончится сахар скоро, он, рядовой Смольский, ответственный за порядок на вверенном ему объекте, не сможет гарантировать отсутствие агрессивных действий со стороны этого плохо управляемого… «Заткнись, сука!» — некультурно гаркнул полковник Акулов, уже успевший покинуть железную западню и отбежать на порядочное расстояние. Марсианин не заметил — когда.

Голос у Акулова сильный, густой, наполненный и без обертонов. Таким голосом командуют победными парадами и посылают на смерть армии. А уж если посылают в общечеловеческом, гражданском, так сказать, смысле, то это звучит. Мамой клянусь, звучит. Во всю мощь своих голосовых связок, переместившись на всякий случай ещё подальше, Акулов рассказал Марсианину о Марсианине всё. Ай, какой это был рассказ! Правда, концовка речи получилась у Акулова скомканной: Боря как раз доел последний кусок сахара и повернулся на звук — посмотреть,

что за шум. Акулов неприлично взвизгнул и побежал. Он бежал очень быстро, летел практически, не оставляя даже отпечатков подошв ботинок на мягкой весенней траве, и очень скоро исчез за ангарами складов. «Пойдём, животное», — сказал Марсианин и, взяв Борю за ошейник из тройной цепи, легко повёл его к вышке. Привязывать. Марсианин догадывался, что скоро случится, но относился к предстоящему философски. Знал: то, что должно быть здесь и сейчас, давно уже произошло в бесконечном пространственно-временном континууме Вселенной. Бесконечное число раз.

Когда минут через пять приехал на штабном уазике зампотылу майор Ошитко, Марсианин занимался делом. Потрошил пачки с пайковым сахаром и ссыпал искрящиеся кубики в большой эмалированный таз. На майора Смольский даже не взглянул. «Это, Дима, — зампотылу непривычно замялся, — быка, значит, надо того. Акулов сказал, чтобы ты сам. Как хочешь. Приказ, значит. Ты когда его того, значит, сообщи. Я людей пришлю. Шкуру там, на склад его потом. Ну, как положено, на вес и по описи. Час тебе времени, — сказал. — А то ведь, ты Акулу знаешь, — посадит…» Ошитко посмотрел на молча вскрывающего последнюю пачку сахара Марсианина, сел в уазик и зло хлопнул дверцей. Уехал.

***

Не знаю, как случилось, но в учебке теоретический раздел по ВВ — взрывчатым веществам — в сознании Марсианина не отложился. Никакой информации. Ноль. А практических занятий у него ни разу не происходило. Взять, к примеру, тротил. Смольский знал, что местные им рыбу на озёрах в карьере глушат. Выменивают на самогон у прапора с химскладов и глушат. Поэтому, когда в уплату за мешок комбикорма кто-то из деревенских предложил ему три тротиловые шашки, Марсианин отказываться не стал. Пригодится.

Просто убить Борю Марсианин не мог. Он вообще ещё никого не убивал в своей жизни. Комара, может, только или муху — случайно. Поэтому решил быка оглушить. Как рыбу. Тротилом. Чтобы не мучился. После скажет зампотылу — пусть кого хочет, присылает, разрезают Борю на части и сдают по весу на склад. Всё.

Смольский достал из тайника тротил и принёс из бытовки таз с сахаром. Сахар подвинул Боре, а сам, вооружившись мотком синей изоленты, стал укреплять на мощной лобовой бронекости

быка шашку. Шашка показалась до неприличия маленькой. Вторая, приклеенная рядом с первой, всех сомнений у Димы не развеяла. И тогда, чтобы уже наверняка, пришлёпнул поверху третью — с длинным дополнительным бикфордовым шнуром, прикрученным той же изолентой к легкой деревянной плашке. Борино внимание занимал только сахар. Манипуляции двуногого оставили его равнодушным. Марсианин погладил Борю по уху и зажёг шнур.

***

Я вывернул из-за угла свинарника и увидел Смольского, садящегося на завалинку свинарника напротив вышки. Выражение лица его было… Странным.

— Димон, ты чего?

Смольский коротко взглянул на меня и ответил:

— Мне приказали убить животное. Но я, видишь ли, решил его оглушить.

— Чем — оглушить?! Димка, да ты ё… — тут я заметил привязанного берсерка Борю, заляпанный изолентой лоб быка, прямоугольники шашек, резко бьющий вверх синеватый дымок — и поперхнулся.

— Кретин! — и хотел нырнуть обратно за угол барака, но ноги сами понесли меня к Боре.

Я видел, что успеваю. Надо только вырвать дура́цкий клоунский шнур, прикрученный изолентой — я отметил — почему-то к школьной линейке. Прыжок, другой, третий — руку вперёд, пальцы сжать, схватить, дернуть, размахнуться и бросить, бросить как можно дальше…

Ахнуло так, что в трёхэтажной полковой казарме вылетели стёкла, а на складах РАВ сработала сигнализация. Тревожная группа, дежурный по полку, свободная смена караула подбежали к свинарнику, перекрывая все нормативы прибытия к месту происшествия. И остолбенели. Крыша на свинарнике отсутствовала напрочь. И — странно — не было караульной вышки. Нигде. На завалинке, прижимая к обгорелой хэбешке бычью ногу, сидел, покачиваясь, всклокоченный, в пятнах сажи, Марсианин и тихо причитал: «Бедный Боря… Бедный Боря…» Ни одного другого Бориного фрагмента больше не нашли.

Да, вот ещё: если учитывать последующие события, никто не нашёл меня.

Или…

Глава 2-я

— …или я не буду больше редактором. А вы, Олег Викторович, кем тогда будете вы? Вернётесь к себе в кочегарку?! — Тортилла сняла запотевшие очёчки и неожиданно закончила: — А мне, между прочим, ещё внучку растить и воспитывать!

Чёрт, ну почему от неё всегда так пахнет старушками, тоскливо подумал Олег. Сколько ей, сорок восемь? Сорок девять?!

— Я всё понял, Валентина Андреевна. У нас есть редактор, у редактора есть внучка, у внучки есть Жучка. И печатать мой материал мы не будем, потому что всех нас посадят, как репку. Знаете что? Идите к дьяволу! Ну чего вы боитесь, объясните, пожалуйста? Это ведь сказка, просто ска-з-ка! А насчёт кочегарки — я, между прочим, из неё и не уходил. И вы об этом прекрасно осведомлены. Трудясь только на нашей творческой ниве, Валентина Андреевна, с голоду сдохнешь.

Последнюю зарплату в редакции районки выдали пятью килограммами конфет «Грильяж в шоколаде», пятью же литрами оливкового масла в пластиковой канистре и тремя большими махровыми индонезийскими полотенцами. Такой набор — барство. В муниципальном ритуальном агентстве «Земля и Люди», например, получку опять надгробными плитами дали. Сосед Олега по дому Вовчик одну плиту пытался своей тёще толкнуть, поменять на сало и чуть-чуть самогонки со словами: «Мама, ну да вам же нужнее!». Теперь у него суета, куча дальних родственников приехала — тёщу удар хватил. Похороны как раз сегодня.

— …Извините, Валентина Андреевна, вы что-то сказали?

— Олег, о чём вы думаете в самом деле? Я вам повторяю ещё раз: оставьте глупости, и после обеда надо сдать двести строк на третью полосу — что хотите.

— Ну, раз что хочу… Тогда домой пойду, я с ночи. Устал. А двести строк у Глебушки возьмите. Я видел, у него новый замечательнейший этюд в прозе про зябь и пашни родился.

Олег, не глядя на редакторшу, повернулся и пошёл к двери. Но Тортилла ещё не наговорилась:

— Подождите, Олег Викторович. Я понимаю, вы личность творческая, так сказать живёте в своём мире… Но работаете вы здесь! И у нас районная газета! У нас глава района новый, редакция, если вы забыли, находится в здании администрации!

— Не забыл, конечно, Валентина Андреевна, а в чём дело-то? — невинно поинтересовался Олег.

— Ваш внешний вид! — взбешённая Тортилла даже подпрыгнула на своём стуле. Такой она Олегу нравилась больше всего:

маленькая, нечистые волосёнки дыбком, очёчки снова сразу запотели, напряглась вся, коготками в столешницу вцепилась. Ну, прямо анекдот про старую, беззубую, но очень злую собачку: не закусает, так засосёт насмерть. — Ваш внешний вид!

— Но я же подстригся. Вы как просили, я сделал, — честные карие глаза Олега лучились удивлением и непониманием. Он полностью расслабился и кайфовал: такие моменты почти компенсировали безденежье и тягомотную трясину газетной текучки. — И даже бороду сбрил. Почти.

Тортилла неожиданно вздохнула и устало махнула ручкой, — иди уж, мол. Скандала не получилось. «Сдаёт старушка, что ли? — подумал Олег, поправляя чёрную таджикскую тюбетейку на гладко выбритом черепе, — или что-то такое чувствует нехорошее?»

…Сегодня ночью на смене в котельной, накатив с напарником Валеркой-Таджиком дурной китайской водки, Олег пошёл на кардинальные изменения. Голову Валерка ему побрил, затем избавились от усов, бородку оставили только. Клинышком. Чистой воды импровизация — проколотое ухо и серёжка в нём. Просто водки было много, а серьга-колечко валялась в душевой уже с месяц: чья-то зазноба оставила, наверное. Таджик, оценив плоды совместных усилий, открыл свой шкафчик, достал тюбетейку — память о далёкой родине — и надел её на Олега. Восхитился: «Абрек, слушай! Дарю!». Выпили за абрека; отдельно — за тюбетейку.

Утром был понедельник, и на планёрку Олег, как всегда, опоздал. Скромно пристроившись на подоконнике, — стула, как обычно, не хватило — Олег ждал, пока на него обратят внимание. Не замечать его было среди коллег правилом хорошего тона. Только Палыч, бывший работник компетентных органов, по старой привычке влезть в душу, а потом заложить, подходил в курилке с разговорами за жизнь. Сам он никогда не курил, но в кармане держал пачку вонючей курской «Примы» и спички.

— Здравствуйте, Олег Викторович, — Тортилла вложила в приветствие годовой запас яда и сарказма. — Что это вы сегодня так рано?

— У нас с Таджиком, Валентина Андреевна, водка кончилась, — охотно пояснил Олег. — А сменщики, жлобы, врут — бабок нет, не заняли…

— Какие бабки! Что вы постоянно тут клоунаду устраиваете! Сейчас особенно важно показать молодым опасность возвращения старого режима, используя все возможности нашего печатного органа. Именно об этом говорил в последнем интервью

глава администрации района. А вы? Вы подготовили молодёжную страницу?

— Практически да, Валентина Андреевна. Вот, — Олег протянул листы бумаги, — экспресс-опрос учащихся старших классов «Выбираем свободу!», это коллективное письмо демячейки из профтехучилища «Спасибо демократии за нашу счастливую юность» и воспоминания диссидента Кобякина о том, как Берия и инопланетяне преследовали его за либерально-демократические убеждения в тридцать седьмом.

— Кобякин… Кобякин — это хорошо. Инопланетян убрать, и вот здесь, где он доказывает необходимость введения НЭПа Ленину в открытом письме, смягчите. Зачем он пишет в приветствии Владимиру Ильичу: «Ты, жидовская морда!». Это, по-моему, слишком. Да. И придумайте что-нибудь этакое весёленькое, сатирическое о старом строе. Ну, как вы иногда умеете. Только, пожалуйста, не подписывайтесь «Изя Кацман», вы же русский человек! И весёленькое это своё давайте быстрее…

— Я тогда пойду, Валентина Андреевна? А то ведь времени мало.

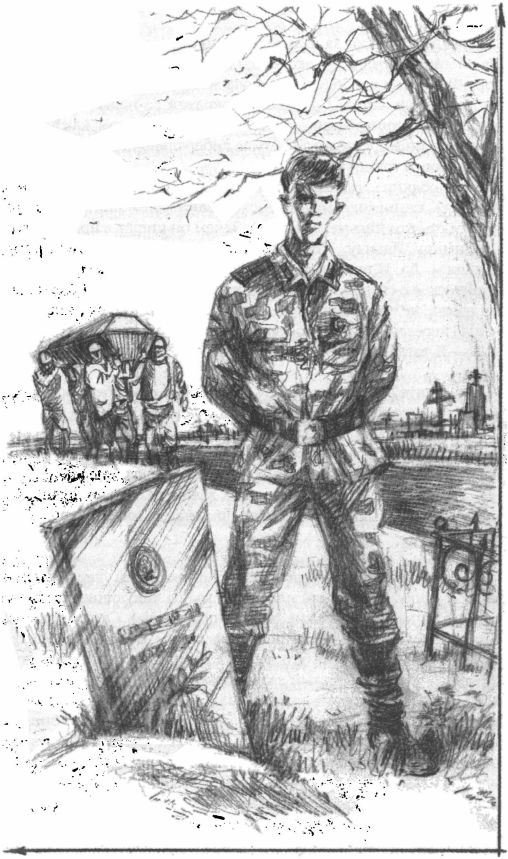
— Идите, Олег Викторович, работайте, и до обеда материал мне на вычитку. И что такое у вас на голове?!

— Это рабочая таджикская тюбетейка. Подарок. А это, — сняв тюбетейку с блестящего черепа, Олег показал пальцем на своё ухо, — серёжка. Память о любимой бывшей жене. Правда, мне идёт?

Увидев, как Тортилла меняется в лице, Олег, не дожидаясь продолжения, вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь.

***

Ещё в начале восьмидесятых, до армии, Олег увидел старую кинохронику. На главной площади страны ликующие массы отпускают в небо гигантские шары с портретами Самых Главных Вождей. Олега ещё тогда заинтересовало: а куда они улетают? Где приземляются? Что потом с ними происходит? Не шутка ведь — если сам усатый дядька с небес на чью-то голову снизойдёт. От нечего делать придумывал, моделировал, проигрывал в голове разные ситуации. Сегодня, исполняя распоряжение редактора «сделать что-нибудь этакое», Олег решил коротенько описать одну. Наиболее, казалось ему, — возможную. Подходящую. Реальную. Вставил чистый лист в раздолбанную «Москву» и напечатал: ЧИСТОЕ НЕБО. *Сказка для взрослых.* Писалось легко, без задержек: сюжет, оказывается, давно сложился — надо было только перенести его на бумагу.



Олег вполне успевал сдать Тортилле материал до обеденного перерыва. А потом, решил, пойдёт домой. Спать. И вспомнил вдруг с неожиданной досадой: надо ещё сходить к Антоновне. На похороны.

***

Антоновна, тёща соседа Олега по дому Вовчика, которой тот неудачно предложил бартер с надгробьем, была неплохим человеком. Махру в самогонку не добавляла, в долг давала, не особо выёживаясь.

Маципуры — знатного самогона — в погребе почившей Антоновны её зять Вовчик вместе с благоверной обнаружили три бидона. Ещё и полтора ящика казёнки, водки «Русской», на этикетках которой стояли невероятные волшебные цифры «3.62», — покойная была запасливым человеком. Скорбный Вовчик и его половина, повязавшая по случаю потери мамы тёмный платочек, занимались делом. Почтить память великого человека пришли все, кто мог передвигаться. Основное население окрестных халуп или уже спилось, или активно спивалось, поддерживая видимость жизни хождением на работу.

Переулок Косой, в котором стоял всё ещё крепкий, помнящий хозяина дом Антоновны, полностью оправдывал своё название.

Прибыли музыканты. Их, не успевших расчехлить инструменты, быстренько накачали штрафными. За опоздание. Кто-то из скорбящих затянул песню, а под навесом летней кухни пытались запустить раздолбанный кассетный магнитофон. Неизвестно, как бы оно пошло дальше, не вмешайся в происходящее старухи-одуванчики.

Антоновну вынесли, наконец, со двора. До старого кладбища, где собрались хоронить покойную, недалеко. С километр или около. Поэтому те, кто мог ещё передвигаться, решили идти пешком. Однако сил своих по ухабистой скользкой дороге не рассчитали. Каждый метр продвижения к цели давался с трудом, но хуже всего пришлось музыкантам. Влитое разом громадное количество спиртного отрицательно подействовало на их способность извлекать звуки из инструментов и вообще ходить. То один, то другой, повинуясь закону всемирного тяготения, падал наземь. В конце концов, за несущими гроб и немногочисленными сопровождающими шли только двое лабухов. Труба-корнет старательно выводил Шопена, сбиваясь время от времени то ли на «Барыню», то ли на «Интернационал». А барабан был неподражаем. Барабанщик, ростом чуть более своего инструмента, колотил по натянутой коже наотмашь, во всю длину руки. Но

самогон, водка и штормовое состояние просёлка не способствовали ровному шагу. Запнувшись о какую-то колдобину, лабух со всего маху саданул о металлический обод барабана. Колотушка сломалась, и тяжёлая часть её протаранила переносицу увлечённо музицирующего коротышки. Переносица тоже сломалась. Барабанщик, выронив инструмент, рухнул в канаву.

Корнет солировал. Кто-то из мужиков, обратив внимание на слабое звуковое наполнение печально-разухабистой мелодии, вернулся и попытался привести павшего барабанщика в чувство. Потом, заметив юшку, измазавшую личность и одежду пребывавшего в тяжком беспамятстве коротышки, заорал: «Музыканта убили!». Ушедшие вперёд его не слышали. Тогда мужик, подхватив инструмент, скачками понёсся за процессией. На ходу он колотил в барабан подобранным с земли дрыном.

Уже на кладбище гроб всё-таки уронили. Глядя, как укладывают на место закатившуюся в кусты Антоновну, Вовчик, всю дорогу стоически сдерживавший слёзы, заголосил:

— Ба-тя-ня-а-а!

— Ты чё, блин, какой батяня, — саданула его локтем в бок супружница. — Маму хороним!

— А батяню мне тоже жа-алко-о! — Вовчика повели успокаивать водкой.

***

Заката за мутным киселём туч видно не было. Дождь прекратился, но поднялся резкий холодный ветер. Поглядев, как выравнивают крест на рыхлом могильном холмике, Олег взял у кого-то полный пластиковый стаканчик, залпом выпил. Самогон подействовал почти мгновенно. И сразу захотелось есть. И спать. И вспомнилось, что не был у родителей с прошлого года. Тропинка сбегала вниз, к ватажке молодых клёнов. Обходя их, Олег думал, что надо бы покрасить оградку и подновить буквы на плите. Темнело быстро, деревья, надгробья, кресты потеряли чёткость границ, зыбкая серость придавала окружающему нереальные черты и пропорции. Олег заметил: возле могилы родителей стоит кто-то высокий, с него ростом, в военной, кажется, форме. Что-то не так было в сгорбившейся фигуре, что-то непонятное и неправильное. Сглотнув ком решившей вернуться вдруг самогонки, Олег, подходя ближе, хрипло окликнул:

— Эй!

А потом, посмотрел в лицо повернувшегося к нему человека и выдохнул:

— Ну ни хрена себе…

Глава 3-я

— ...бери сотку и не выдрючивайся. Тоже, мля, Паганини со скрипкой. Берёшь?!

Ватсон отрицательно покачал головой:

— Уважаемый, цену я назвал, за меньшую не отдам. Да, инструмент старый, но полностью рабочий. И это не малазийская печатка, а фирма. Полюбопытствуйте, не сочтите за труд: вот паспорт, техническая документация. Гарантийная книжка. Правда, она уже ни к чему, гарантия давно закончилась...

— Во, я ж говорю, фуфло хочешь толкнуть!

— Во-первых, это вы ко мне пришли, во-вторых, знаете, что? Я не стану вам ничего продавать. Не хочу. Ступайте.

— Да ты чё, муфлон, из себя корчишь? Может, тебе в торец зарядить?

Ватсон побледнел и незаметно удобнее перехватил рукоять трости. За трость и неестественно прямую походку он и заработал в общаге своё прозвище. Короткошеий бычок в нелепо сидящем на нём дорогом кашемировом пальто заметил что-то неприятное для себя, режущее, промелькнувшее в глазах Ватсона, и резко сбавил тон:

— Да ладно, братан. Мы ж не в супермаркете, в натуре, торг уместен. Скока ты сказал, двести пятьдесят?

— Триста. И, пожалуйста, рассчитайтесь рублями по курсу.

— Хрен с тобой, я сегодня добрый. — Короткошеий с трудом достал из внутреннего кармана дорогой, жёлтой тиснёной кожи, пухлый лопатник. — И это, как тут чего нажимать, покажешь?

Ватсон тяжело вздохнул и опустился на скрипучий панцирь крова́ти. Пересчитал деньги, полученные от бычка в кашемире. Здесь делать было уже абсолютно нечего. Стол, табурет, тумбочка. Книжная полка: Маркес, Стейнбек, Булгаков, Моэм, Стругацкие. Перечитано десятки раз, потёртые переплёты, выцветшие названия — здесь эти книги никому не нужны. Не продать. Может, подарить? Кому? Пыльное окно, затёртые обои на стенах, голая лампа под потолком. Жаль, не успел продать саму комнату. Она ведь — Ватсон хмыкнул и произнёс про себя по слогам — при-ва-ти-зи-ро-вана... Тьфу, гадость. И слово гадость и, по сути. В таких «приватизированных» клетках старой рабочей общаги рождались и умирали поколениями. Без надежды. Без смысла. Рождались и умирали, не успев понять, что в промежутке была та самая единственная и неповторимая жизнь. «А ты, ты успел понять? — спросил Ватсон, — ты успел понять, что это такое? Или проплёлся пять десятков лет

и решил, что сейчас можешь всех обмануть?» — «Почему обмануть, — возразил Ватсон. — Исправить. Возможно, всё ещё получится исправить. Нужно только очень постараться, и всё обязательно получится».

Боль, старая подружка, верная — такая не бросит — спутница, зашла сразу, обняла, охватила позвоночник, неторопливо принялась его скручивать, будто пробку с пивной бутылки. Заломило затылок, ватными, непослушными сделались руки. Ватсон глухо застонал, осторожно, словно боль могла расплескаться, наклонился — пружины сварливо заскрипели, — открыл тумбочку, достал заранее наполненный шприц. В бедро, через штанину, поршень до отказа, пустой шприц падает у кровати, теперь лечь и попытаться выпрямиться. Подумал отстранённо: что-то сегодня рано. Надо торопиться. Пока мозги ещё работают. Завтра. Решено — завтра.

Боль спряталась и делала вид, что её совсем нет. Солнце собиралось укрыться за соседней крышей, на улице под окном гомошили дети и лаялись сразу три тётки: две толстые и одна худая. Слов было не разобрать, только мат и визги. Ватсон поморщился, но форточку не закрыл. Весной пахло одурительно, небо после дождей стало высоким, ветер — мягким, под соседним окном собирался зацветать куст сирени, а сверху, — заболели, что ли? — вместо обычного визгливого бреда про любовь, слёзы и грёзы включили старенькое «Воскресенье»: «В моей душе осадок зла и счастья старого зола и прежних радостей печаль...» «До горизонта протянуть надежды рвущуюся нить, — проговаривал Ватсон, — и попытаться изменить, хоть что-нибудь». Так же весной, только тридцать лет назад, эту тему лабали в кабаке, и все ещё были живы, молоды и абсолютно счастливы. Ага, дальше гитарная вставка, Витёк ковырял на «Фэндере», девочки писали под себя и строили глазки, матроны помудрее бросали деньги в «бочку» и приглашали в гости, а Валера, пришедший из Афгана без правой руки, тоскливо смотрел, как молодой режет ритм, ломает переходы и теряется на сбивках. Валера был ударником от бога. Когда у него были две руки. Ватсон смотрел в глаза Валере, пока не закончили тему, потом взял из «бочки» червонцы и затолкал их в рот азеру, что пытался влезть на сцену, гортаня: «Бэлый роз гидэ, я, билят, заплатыл!». А Витёк красиво дал азеру в ухо, и тот исчез в пропахшем духами, дымом и вчерашними закусками кабачном зале. И тогда Ватсон взял коротко зафонивший микрофон, и, кивнув Валере, прочёл:

Солдаты с войны возвращались домой, —
Марш играли.
Солдаты с войны возвращались домой, —
Пыль глотали.
Не ровный устало держали строй,
И вёл лейтенант с седой головой,
Солдаты с войны возвращались домой,
Их — не ждали.
А дома, сиреной взломав тишину,
Других послезавтра возьмут на войну.
И те послезавтра пойдут на войну
В клубах пыли.
А тем, которых привёл лейтенант,
Скомандуют: Смирно! На месте стоять!
Солдаты! Кругом, возвращайтесь назад! Вас —
Убили.

И была после славная драка, и накостыляли азерам и ещё каким-то двум краснорожим, наглым, пьяным в пыль полковникам, и Валера недурно работал одной левой и ещё головой, и азеры оказались потом не муслимами, а нашими православными братьями-армянами, классными парнями, приехавшими выкупать из военной прокуратуры своего племянника-дезертира, и мы пили с ними «Ахтамар», а потом искали тех самых полковников… «Боже, как давно это было», — пел Никольский, «скорая» давно уехала, Кента удалось выставить за дверь почти сразу, большой «Немирова» оставалось ещё полбутылки, и Ватсон засыпал. Засыпал. Всё будет завтра.

«Завтра — это сегодня, только завтра». Кто это сказал?!

***

Преимущество онкологии — отсутствие похмелья. Просто болит всё. Без локализации, так сказать.

Ватсон стоял под ледяным душем в общей умывальне, фыркая, — плевать на боль от резких движений, — растирался потом полотенцем. Потом, уже у себя, — заваривал чай. Потом — пил. На сегодня у него оставались ещё кой-какие дела, но можно было не торопиться. Настроение — лёгкое, спокойное, замечательное такое настроение. Ватсон набросил на кровать плед и присел на него, держа в руке новую чашку чая. В дверь поскреблись.

— Заходи, Кент, — сказал Ватсон, не повышая голоса. Акустика в блочной общаге была как в большом дрезденском костёле.

— Привет, Ватсон, — сосед по кличке Кент проморгался красными глазками, стрельнул ими в сторону стола. Стол был пуст. — Слыхал, баба Роза, вахтёрша, вчера Колючего отделала? Шваброй, блин. Сломала, это, швабру. А и правильно сломала, прикинь, Ватсон, чего он с Люськой поссорился и опять хотел в окно выброситься? А окно на первом этаже и ещё на вахте, ну, у бабы Розы. И с решёткой же. — Кент посмотрел на Ватсона, ожидая реакции, не дождался, тяжело вздохнул и закончил безнадёжно: — Третий, блин, раз за неделю.

Ватсону, в принципе, нравились обитатели общаги. Была в них такая детская непосредственность, искренность и простота желаний. Русские дети Тортилья Флэт. Вот и сейчас все желания гостя читались на его мятом с похмелья, украшенном свеженьким фингалом лице. Но этика не позволяла Кенту перейти к главному вопросу сразу. Ватсон решил помочь:

— Проходи, сосед, присаживайся, выпьешь немного?

— Да с тобой, Ватсон, с удовольствием, — Кент, чтобы не оказать нечаянного неуважения человеку, у стола очутился моментально и присел, по-зоновски, на корточки. Табуретка была занята старой настольной лампой, а на кровать к хозяину комнаты садиться Кент счёл неприличным.

— Сергей, — Кент удивлённо посмотрел на Ватсона, по имени его называли редко, — ты лампу на пол поставь и располагайся. Держи вот. Выпей и закусывай.

Кент осторожно влил в себя щедро наполненный стакан. Аккуратно взял заскорузлыми пальцами из тарелки оставшейся со вчерашнего бастурмы. Понюхал пряную мясную пластинку, откусил немного, прожевал с видимым удовольствием:

— Ватсон, я, блин, тебе давно сказать хотел. Ты, это, хоть и двинутый, и болеешь, да, но ничего мужик. Человек, ага. А если хайло кто откроет, ты мне только маякни, я с их хайлом знаешь, что сделаю!..

— Спасибо, Сергей. У меня к тебе как раз просьба. Я, видишь ли, собираюсь по делам отлучиться. Денька, может, на два. Или на три. Так вот, держи ключ, и завтра зайди ко мне, посмотри, всё ли в порядке. Можешь прямо утром.

— Да ты чё, Ватсон? — возмутился Кент. — Да кто сюда полезет? Да и чё у тебя, в натуре, брать, а?

— Не важно, просто зайди. У меня в тумбочке бутылка портвейна стоит. Для тебя. А сейчас извини, я тут с бумажками покопаюсь немного. Что? Да, забирай, конечно, — ответил Ватсон на

вопросительный взгляд Кента, брошенный им на остатки спиртного. — И мясо возьми. Лампу, э-э настольную, кстати, тоже. Мне она ни к чему.

И уже уходящему, нагруженному нежданными дарами, бормочущему благодарности Кенту Ватсон сказал:

— Олег Викторович. Так меня зовут, Сергей, — Олег Викторович Семёнов.

***

...а как красиво начиналось. Так тогда казалось: красиво. Ты можешь всё, и совсем не думалось, что все могут тебя. Хотя ты сопротивлялся. Разве? Да. Каждый раз ты старался начать сначала. С нуля. С нуля, наверное, потому, что так и не смог стать единицей? Или потому, что всегда оставался один? Фигня. Рефлексия. Игра словами. Обычная игрушка неудачников — игра словами. Посмотри на себя. Что ты? Ты имеешь право исправлять? А, по-твоему, кто имеет право? Брось, опять играешь словами. А что: любимая игра детства — мы все, а иногда даже папа, если приходил со службы рано, а мама его уговорит, пишем на вырванных из старых тетрадок листочках слово, и надо из него сделать много других слов. Новых. Ага, сейчас заплачу. Новое слово — новый мир. Ещё чуть-чуть, и ты изложишь популярную версию мудрости старины Оккама, потом последует компот путешествий во времени из Финнея, кактусов с кастанедами, шаманов с мухоморами, компьютерных чипов в башке, пердящей бензином абсолютно настоящей машины времени. Или вариант товарища Никиты Воронцова, как тебе? А, в общем, знаешь, на этот раз ты действительно потерял всё. Пробуй. Лягуш-хронопутешественник, блин.

Без кактусов с мухоморами, в некотором смысле, действительно не обойтись. Ну и что, что их заменяют несколько блестящих ампул. Спасибо вчерашнему бычку в кашемире. И фельдшерице со «скорой» — та часто продавала Ватсону «излишки». Передозировка, так это называется?

Ещё один компонент абсолютно индивидуального пользования для путешествия — боль. Прошлое, твоё прошлое, приходит особенно ярким, отчётливым, когда находиться в одном маленьком теле с болью вместе уже, кажется, невозможно. Особенно чётко тогда вспоминаются? проявляются? — не важно — определённые моменты. Ватсон давно понял, догадался, осознал ясно и сразу, что именно туда ему необходимо попасть.

Мысль — энергия. Энергия — материальна. Мысль есть материя, и с этим не спорят уже даже напыщенные болваны,

называющие себя «официальной наукой». Значит в том, давно прошедшем временном отрезке Ватсон будет обладать телом. Здоровым телом. Обычным, без суперовской накачки. Своим. Никакого другого просто не может быть. Это не виртуалка с Дюком. Скорее всего, отсюда с собой можно взять и то, что есть у тебя из вещей. Сейчас есть. Теперь. Одеться, естественно. Вот — пятьсот баксов сотками, заначка на случай атомной войны и подобных прелестей, там они уж точно не помешают. Трость взять, расставаться жалко, и, пожалуй, ещё вот это. Последнее, что осталось от некогда бурной журналистско-редакторской жизни: крошечный цифровой диктофон с раковинкой наушника на нитке-проводе и булавочный, ещё в упаковке, радиомикрофон с передатчиком.

Ну что, снарядился, спросил себя Ватсон, поехали? Там, в точке развития событий, которые определят всю следующую жизнь, — ключ. Возможность исправить. Надо лишь успеть найти холст с очагом, замок, открывающийся этим ключом. Понять, что нужно изменить. Не для себя. Нет. Это нужно тому, кто останется после. Вместо.

Чёрт, часы забыл! Да где же, а, вот они. Надеть. Завести. Проверить.

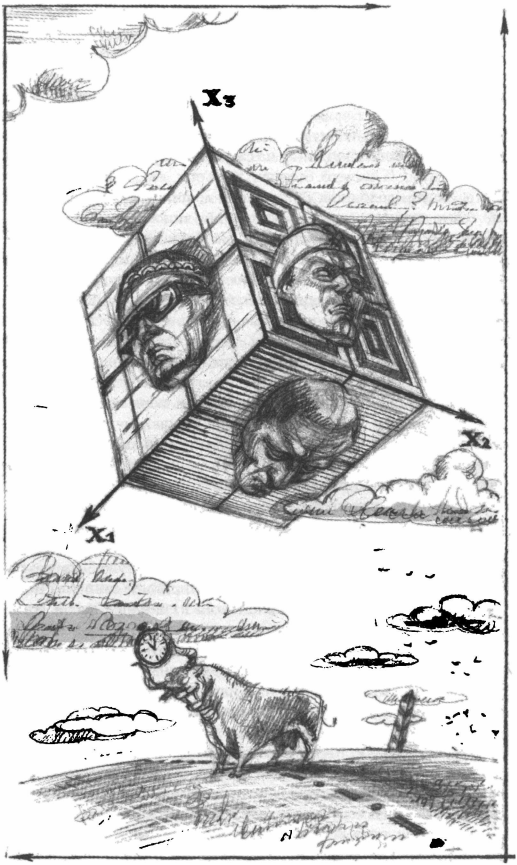
Самое главное — не ошибиться в сегменте времени. Есть только одна попытка. Потому что ты и твоё пусть пятидесятилетнее, но здоровое тело будут находиться там ровно столько, сколько сможет жить твой организм здесь. У тебя сегодняшнего, думал Ватсон, практически нет уже личного Времени. Твоё Время — это сутки, двое вряд ли, даже если Кент не опоздает и не опоздает «скорая» и тебя захотят везти в реанимацию и поддерживать твоё тело хотя бы этот срок, а не оставят додыхать просто в коридоре. А так, наверное, ещё меньше.

Интересно, когда тебя всё-таки найдут, как ты будешь выглядеть?

Глава 4-я

1. Я, конечно, фантастику люблю. Но до такой хрени даже после клея БФ-68 не долетишь. Ну, прикинь: сижу я и пью самогонку с самим собой. Не в смысле в одиночку, а в натуре — с собой. Только я старше лет на одиннадцать и выгляжу, извини, как фиговый клоун. В армейке, не тормозя, такому бы в тыкву дал. И ещё по кумполу. Хотя, чёрт тебя знает, может, и ты бы мне накатил. Я — в смысле — себе. Вон, на костяшках у тебя, у меня, в смысле, мозоляки… Не, не могу больше. Наливай, брат. Давай я

тебя так и буду звать — Брат? В смысле, как имя Олега, с большой буквы: Брат. В смысле, а то я Олега, ты тоже Олега, свистнуться можно, в смысле свихнуться. Вот меня на «в смысле» заклинило. Прикол, да? Ну какой здесь смысл, где он? См-ы-ы-сыл, ау, ты хде?! Да не ору я, Брат, я его ищу… Да знаю, что хреново. А мне? Вот как я пытался Борю с Марсианином спасти, а когда жахнуло, ничего не помню, а очнулся, темнеет уже, и мо-окро, блин, где я, что я, башка болит, прикинь, на самом ни царапинки, а помню ж как жахнуло, а ничего больше. Ни Бори, ни Марсианина, ни, блин, вышки долбаной. Встал, меня пошатывает, конечно, но я же точно вижу, деревня родная, с сопки, там же помнишь, где пацанами схрон делали, видно всё. Ни фига себе отдача, думаю, полтыщи километров лететь. А спокойный сам, наверное, от взрыва не отошёл и просчитываю себе нормально так, как к дому пройти, чтоб не спалил никто, объясняйся потом… А дома с осени восемьдесят четвёртого не был, знаешь же, хочется поглядеть. А во двор с огорода захожу, меня Петрович, слепой, сколько помню, а срисовал, вечный друг пограничников, кричит, ты, Олег чего форму нацепил, расследуешь газетно кого? А чего, говорит, не на кладбище со всеми, там же все… У меня всё оборвалось, опять огородами, вдоль озера, честно, не знаю, почему, ноги прямо к маме с батей вывели. Музыка ещё эта жуткая, похороны, я за клёнами отстояться хотел, повернул и — увидел. А даты рассмотрел, у меня как остановилось всё, пустой стою какой-то, а уйти не могу, даже когда твои шаги услышал. Выпьем. Помню, не чокаясь. Слушай, а почему ты всё спрашивал, что рвануло, что жахнуло? Что жахнуло? Тротил. Когда Марсианин Борю глушануть тротилом хотел на свинарнике, я ж говорил уже! Да какой-какой, — Димон Смольский! Марсианин, блин, свинарь. Толян Сивокобыльский? Не было у нас такого в свинарях, ты чё, одиннадцать лет подряд ещё контуженный ходишь? Давай, выпьем. Во, пошло. Как, где служил, где служил. И не служил, а служу, полгода ещё, — Сергеевск-Дальний, Краснознамённый Дальневосточный, ЗРП, второй батальон… или не служу уже? Так я дезертир, что ли, а, Брат? Брат, ёлы-палы, у нас же батя военный, а я дезертир? Это как получается, девяносто шестой уже, понатворили здесь, Союз просрали. Я сам знаю, когда мне хватит! Да пошли вы на хер все! В коменду пошли оба, сдаваться, я честный советский солдат, вас, клоунов, знаешь, где видал, капитализьма с дырочкой для клизьмы у них, в харю, клоун газетный, хочешь?! … да понял, мля, руку отпусти, слышь брат, в смысле Брат, ладно… Выпьем. А нам Лютый такого залома не показывал, ну, капитана-


X3
X2
X1

то Лютого помнишь, инструктора по рукопашке? Что-то мне поспать надо, ага… Во, смотри, Брат, и батя сегодня пришёл! Здравствуй, батя! А Брат сказал, он вот, в смысле, что ты в восемьдесят девятом от инфаркта, и я ж сам сегодня был там. Как я рад тебя видеть, батя! А мама где, мама с тобой пришла? Ты, Брат, бате не наливай много, у него ж сердце, а я посплю, голова болит, я здесь прямо, батя, а у нас с Братом часы одинаковые, ты подарил на армейку… обоим…

2. Я себя сразу узнал. Оба раза. На кладбище, около родителей, когда окликнул, в лицо посмотрел, лицо человека, который уже понял, что всё потерял, но ещё не осознал, из последних сил не позволяет себе осознать: это правда, и это навсегда. Моё лицо. Когда… Да не важно. Я это. В армии. Форма не моя, не было в стройбате такой, ВСО у нас, а камуфляж только у пограничцев и десанта. Ну, ещё у войсковой разведки. Или эти уроды, от Антоновны избавлявшиеся, или то, что Тортилла «Небо» зарезала, или погода и общая атмосфера погоста на меня так подействовали. Скорее, всё до кучи. Только я подошёл, взял себя за локоть и сказал: «Пойдём домой, Олег. Правда, это. Папа от инфаркта, а мама через три дня, во сне. Инсульт. А мы домой пойдём сейчас, понял, ну?» И я посмотрел на меня внимательно, дьявол, нельзя человеку с таким взглядом и ответил очень ровным голосом: «Понял. Руку отпусти. Рассказывай».

…скоро стал уже нас разделять. Олег дал мне имя, мне понравилось. Действительно, жаль, у меня нет брата. То есть не было. То есть… Чё-ёрт, а что ж теперь делать-то?

Я сидел спиной к входной двери и на скрип петель не обернулся. Решил, что зашёл пьяный Вовчик или, не дай бог, бдительный Петрович, и лихорадочно соображал, как представить Олега. И уже почти придумал, но послушал, что несет Олег, и повернулся.

Ничего так мужик. Стильный. Держится, как драгунский офицер на балу, прямо. Шляпа, белое кашне, серый плащ-реглан расстёгнут, чёрные отутюженные брюки. Туфли странные: остроносые и лакированные. Тоже чёрные. Похожие в начале семидесятых у бати были. Трость. Тёмная, дорогая явно. Лицо вот подкачало. Худое, длинное, туго обтянутое кожей, скулы выступают резко. Нос острый, я ещё подумал — раза три ломаный. Резкие морщины вниз, от крыльев носа. Уголки тонкого рта горько опущены. Глаза. Глаз за очками в тонкой золотой оправе разглядеть не успел. Сбоку-сзади раздался глухой стук: Олег опять башкой об стол стукнулся. Уснул, значит.

Вошедший повёл слегка головой влево-вправо: осмотрелся. Снял шляпу и, не глядя, повесил её на крючок вешалки справа от двери. Волосы — абсолютно белые — пригладил сухой тонкой ладонью и спросил, кивнув на спящего Олега:

— А он-то как здесь оказался?

А я совершенно спокойно, вежливо ответил:

— А х.й его знает. С неба ёб…ся. Это ты экспрессом из Лондона прибыл, а он с неба ёб…ся. И ты или сейчас же объяснишь, откуда вы оба на мою голову сегодня ёб…сь, или я тебе сейчас…

А мужик присел на стул рядом и сказал:

— Это истерика. На, — он протянул мне стакан (когда успел?), полный какой-то янтарной жидкости, — выпей. Выпей, Олег. А меня называй Ватсон. Так легче.

А я ему ответил:

— Х.й тебе, Ватсон. Это он Олег. Меня Братом зовут.

Потом я выпил всё и, кажется, проспал до утра.

3. Я всё думал, а почему нельзя попасть, например, к родителям и предупредить их… О чём? Почему тех моментов, которые я условно определил как «ключевые», так мало? Да и вообще, о чём говорить. Ничего ведь нет. Ни-че-го. Иллюзия. Больной бред больного человека. Философия хосписа. Слишком крутой приход от передоза.

— Ой, извините, я нечаянно! — девчонка лет двенадцати неслась по своим важным двенадцатилетним делам и пребольно наступила мне на ногу. Я стоял указателем «проход запрещён» посреди тротуара и глазел вокруг. Надо же. Двадцать лет тому вперёд всё выглядит гораздо веселее.

Но китайский рынок на месте.

На рынке сразу пошёл к Лю Синю. Через двадцать лет он будет сидеть на этом же месте и, поджав под себя ноги, ровно водить смычком по двум струнам странного маленького инструмента, название которого он произносил как «ар хуу». Я всё удивлялся созвучию названия арфы: ар-фа-а. Лю Синь был одним из первых китайцев, обосновавшихся у нас после отмены пограничной зоны и демаркации. По-русски говорил мягко, тягуче, с непередаваемым сглаженным акцентом. Я с ним не то чтобы подружился, а разговаривал. Или он со мной. Я видел, как невыразимо тупело его лицо, как резко забывал он великий и могучий, когда какая-нибудь пропахшая чесноком и хозяйственным мылом тётка начинала торговаться с ним из-за шмотки. На рынке Лю Синя все звали Лёшей.

Иногда, редко, он приглашал меня к себе за отгороженный одеялом угол внутренностей вагончика-бытовки, в котором обитали рыночные китайцы. Пили красный чай из тёмных потрескавшихся пиал, и Лю рассказывал, как был хунвейбином, а потом активным партийным функционером, а потом пятнадцать лет сидел в концлагере. Недалеко, на той, китайской стороне озера. «Сиди спокойно на пороге своего дома...» я впервые услышал от него. И говорил с ним о печальной судьбе автора «Записок о кошачьем городе», а он читал Ли Бо в неизвестном мне переводе и, положив свой инструмент на мягкую тряпочку рядом, потягивал длинную коричневую сигарету. «Лю, ты шпион?» — спросил я у него как-то. «Я уже был шпионом, — ответил он. — С той стороны озера. А с этой — играю на ар хуу, пью чай и беседую. Но это одно и то же озеро». Уходя, я на манер боевиков из «Рот Фронт» поднимал сжатую в кулак руку и говорил: «Лао Шэ жив!» Лю Синь улыбался и прикрывал необычно большие для северных китайцев глаза. Улыбался.

— Лю Синь, здравствуй, — ляпнул я, подойдя к китайцу. И тут же обругал себя: нельзя так неосторожно. Лю, однако, ничего не заметил. — Мне надо поменять вот, — я протянул ему двести долларов.

— Рубили, юани, иены? — затараторил торговец.

— Рубли, конечно. — Я переложил трость в левую руку и принялся рассматривать разложенный на картоне товар.

— Чиво нада, карифана? — чёртов рыночный философ ломал язык неимоверно.

— Нада, нада, — включаясь в игру, коряво передразнил я. — Вот это давай. Две штуки, — показывая тростью на ядовито-жёлтого окраса детские уоки-токи, я для убедительности растопырил пальцы правой «викторией».

— Паняла, карифана, паняла, дети нада? — Лю Синь смотрел, заискивающе улыбаясь. Меня передёрнуло — настолько тупым, хитрым и алчным был его взгляд.

— Дети есть. Детей не надо. Товар давай. И рубли, — мне захотелось побыстрее уйти. Стало противно.

— Харошая йоки-таки, далико работаит. Батарейка нада?

— Ставь, да.

— Двадцать тысяц, — сказал китаец, протягивая пакет с коробкой. Размененные рубли перекочевали ко мне ещё раньше.

Я аж подскочил:

— Сколько?!

— Двадцать, карифана, совисем дёсева, — китаец-болванец в подтверждение ничтожности цены мелко закивал.

Тьфу, чёрт! Совсем забыл об обилии нолей этого времени. Сколько же сейчас стоит водка? И не вспомнить.

— Хорошо, беру. — Я протянул деньги и взял пакет.

Напоследок с каким-то сожалением мазнул взглядом по лицу китайца. И вздрогнул. Тупой идиот исчез. Китаец глядел на меня серьёзно и внимательно:

— Зачем ты пришёл, Олег?

— Ошибки, Лю Синь. Я пришёл исправлять ошибки, — я сидел с Лю за одеяльной перегородкой, а руки грела тёмная пиала. Запах свежего чая паром поднимался вверх, смешиваясь под потолком с дымом коричневых сигарет Лю Синя.

— Чьи ошибки ты хочешь исправить, Олег?

— Свои.

— Зачем? — удивлённо посмотрел на меня китаец, узкие брови его резко поднялись вверх, а сигаретный дым струйками вылетел из обеих ноздрей. Получилось смешно.

— Чтобы тот, кто останется, их больше не совершил.

— Ты думаешь, тот, кто останется, не совершит их больше, чем ты?

— Лю! Ты ведь знаешь: я очень скоро умру, я уже умер на самом деле, но неужели ты не понимаешь, неужели ты сам не хотел бы вот так, сам помочь самому себе, сам… — Я запутался, нервно сделал слишком большой глоток чая и закашлялся.

— Я понимаю тебя, Олег. — Китаец улыбнулся грустно и коротко. — Кажется, я понимаю тебя. Жаль, что ты не успел сделать того же. А больше мы не сумеем поговорить. Иди.

Рынок гомонил, от сидящего Лю Синя меня оттёрли подростки в кожанных куртках, пробующие руками на излом подошвы кроссовок. «Чё ты нам, чурка, тулишь, — напирал самый рослый, — это резина голимая!» Китаец счастливо соглашался, мелко кивая. Я повернулся и пошёл к выходу.

— Олег! — я оглянулся. Лю Синь поднял сжатую в кулак руку и, улыбнувшись, сказал: — Лао Шэ жив!

Глава 5-я

Оба-двое ещё спали. Ватсон навёл относительный порядок в доме, убрал со стола, перемыл посуду, выгнал взашей пьяного до невменяемости соседа Вовчика, затопил — где ты, тёплый май? — печь. Открыл на кухне окно. На улице мерзко шлёпало и чавкало. Дождь. Олег так и не изменил положения за ночь: голова на столе, правая рука под щекой, левая безвольно свешивается

вниз, между широко расставленных ног в пятнистых штанах и кирзачах. Брат, выпив вчера стакан виски, попытался буянить, уронил в комнате слишком низко висящую, по его мнению, люстру и хотел выбросить её в окно. Не попал. Ватсон ловко подсёк его под колени тростью, Брат рухнул на диван, свернулся калачиком и уснул.

Очнулся Брат первым, позвал тоскливо:

— Во-овчик! Какого хрена ты по кухне шаришься? Неси, там сэм на столе, и запить. Рассола. Или воды. Ты быстрее можешь?!

Ватсон выглянул из кухни и сказал:

— Самогонка, брат, отменяется. Лечиться будем по-другому. Вставай, Олега буди.

— Твою мать! — Брат схватил себя обеими руками за голову, не поднимаясь с дивана. — Так это не кошмар? Да нет, это, ёп, кошмар!

Замычал невнятно, потом тоскливо спросил:

— Второй, значит, тоже здесь?

— Здесь, Брат. — Ватсон шагнул в комнату, бежевая водолазка плотно облегает воротником шею, брюки точно только из-под утюга, на ногах тапочки, через согнутую руку переброшено полотенце. — Давай, поднимайся, раздевайся до трусов и на улицу. Я на тебя ведро воды вылью. Сам же знаешь, лучшего способа прийти в себя нет. Давай, я на кухне жду. Потом, пока Олег спит, расскажешь, где ты его встретил.

— На кладбище, мля! — рявкнул Брат, выходя в кухню уже в плавках. — Пойдём, доктор, лечиться будем. Процедурами.

На горячей плите шкворчала большая чугунная сковорода с ветчиной, залитой яйцами.

— Я у соседей через дорогу домашних яичек купил, — пояснил Ватсон, заметив взгляд, брошенный Братом. — Познакомился заодно. Объяснил, что я младший брат нашего отца, Борис Семёнович. С Украины приехал, с Донбасса. А Олег со мной, племянник двоюродный, решил поглядеть, как родичи на кацапщине поживают. Кстати, я так и сказал, что он твой тёзка.

Объяснения Ватсон заканчивал уже на крыльце. Брат, зябко поёживаясь, вышел под дождь, встал босыми ногами на кирпичную дорожку и гаркнул:

— Лей, давай, потом трындеть будешь!

Растирался уже в кухне, зарплатным индонезийским полотенцем, очень похоже, как делал это Ватсон сутки назад, в общаге. Фыркал. Проснулся Олег, повернувшись, посмотрел на стоящего у плиты Ватсона, растирающего спину Брата, сказал:

— Ага. — И опять уронил голову на согнутую руку.

— Рота, подъём! — скомандовал Ватсон. — Семь часов уже, завтрак проспишь!

— Семь часов чего? — буркнул Олег, не поднимая головы.

— Завтрак, солдат, случается по утрам, — нравоучительным тоном произнёс Брат и бросил в Олега чистым полотенцем, которое уже достал из шифоньера. — Поднимайся, раздевайся, вали на улицу. Дядя доктор тебя лечить будет.

Потом, употребив по рюмке вискаря — Ватсон налил всем, — обжигаясь, ели королевскую яичницу. Молча. Ватсон закончил первым, промокнул губы полотенцем, с которым суетился у плиты и не расставался, сцепил под столом пальцы рук и наблюдал, как Олег увлечённо полирует сковороду куском хлеба. Брат ковырялся в своей тарелке без энтузиазма. Молчание становилось тягостным, и Ватсон, налив ещё понемногу, предложил:

— Теперь давайте за встречу и поговорим.

Брат и Олег одновременно потянулись к таре, одинаково, двумя пальцами, взяли рюмки, синхронно подняли их над столом. Посмотрели друг на друга. Первым не выдержал Брат. Расплескав половину, заржал. За ним, хлопая по столешнице ладонью, захохотал Олег. Ватсон улыбался, грел свою рюмку в ладонях, переводил взгляд с одного на другого.

— Выпьем, брат, за знакомство, — хохотал Олег, — меня Олег зовут!

— И меня Олег! — заливался Брат. — Тёза! Братан! И этого мудака седого тоже зовут Олег, я щас описаюсь!

— Смо-отри, не перепу-утай! — Олег, всхлипывая и подвывая, стал сползать под стол.

— Я? Себя?! — заходился Брат.

— Хватит! — Ватсон резко хлопнул по столу ладонью. — Хватит, ребята, — произнёс он уже тише. — Что получилось, то получилось. Почему, не знаю, будем решать, что делать дальше.

— А чего ты орёшь? — спокойно спросил Брат. От веселья не осталось и следа. Олег тоже изучающе разглядывал Ватсона. Слышно было, как, потрескивая, догорают в печи поленья. И ещё — все трое услышали одновременно: прекратился дождь.

— Хорошо. Не буду, — легко согласился Ватсон. — Но, может, попытаемся разобраться в происходящем?

Двое продолжали смотреть на него молча.

— Я не знаю, как и почему здесь оказался Олег. Могу предположить, что из-за того, что я пришёл сюда, произошли какие-то

пространственно-временные смещения… Да любое предположение будет меньшим бредом!

— А на хрена ты сюда пришёл? — спросил Брат.

— И как? — спросил Олег.

— Как… Я нашёл… нет, открыл, нет, всё это было известно и до меня… Я догадался в силу течения разных обстоятельств, как можно попасть в прошлое. Своё.

— И моё настоящее, — добавил Брат. — И его, — кивок в сторону Олега, — будущее.

— Да. Но я же говорил, Олега здесь не должно быть, не мог… Ладно, об этом после. Я, ребята, сам в ауте.

— Но как ты всё-таки смог сюда попасть? — настаивал Олег.

— Это просто. Для этого нужно умереть. — Увидев эффект, который произвели его слова, Ватсон добавил: — Ну, не совсем умереть. Я сейчас, скорее всего, в коме. Там, — Ватсон непонятно кивнул на потолок. — Жить мне осталось пару суток максимум. И что-то мне подсказывает, что как только там я окончательно окочурюсь, всё вернётся на свои места. И все. А может, нет.

— Звучит обнадёживающе, — прокомментировал после паузы Олег. — И всё-таки?

— Брат, раньше это касалось бы только тебя. Теперь… Теперь нас трое. Сегодня, Брат, может, то есть, должно произойти событие, которое изменит твою дальнейшую жизнь. Возможно. И ты… Ты не закончишь её так скверно, как получилось у меня.

— Слушай, дельфийский оракул, ты можешь выражаться понятнее?

— Могу, но для этого пришлось бы пересказывать всё, что произошло за эти… за это время. Понимаете, я не смог бы попасть куда угодно в прошлое. Только в определённые моменты. Вчерашнее число — одна из условных точек. А сегодня это событие должно произойти. Вот так. — Ватсон беспомощно развёл руки над столом в стороны.

— Слышь, ты попом подрабатывать там не пробовал? Или замполитом?

— Да хватит себя вести так, будто я нахожусь на комсомольском активе, а вы тут оба — секретарь и общественный обвинитель! — не выдержал Ватсон. — Мне терять нечего, я же по-человечески объяснил. И времени у меня — тьфу! Посижу, посмотрю на вас братьев, дебила и клоуна, и пойду в кабак, нажрусь, бабу сниму, гульну нормально. Давно хотел узнать, как чувствует себя человек перед концом света, — уже спокойнее закончил Ватсон. Налил себе сам. Выпил.

— Хорошо. Что должно произойти, что нужно делать? — спросил Брат.

— Ты Вадима Панова помнишь?

— Пограничника?

— Он такой же пограничник, как я твоя бабушка. Особист он. Гэбэшник. Региональный отдел ФСБ по нашему и ещё двум районам. Газетку вашу курирует. Заодно и вас, горемычных.

— Палыч ему на всех стучит?

— А то. И не только устно. И не только Палыч. Ты, братишка, из пишущей кодлы единственный остался… Не контактный.

— Ёпть!

— В общем, Брат, он тебе сегодня сделает предложение, и ты его примешь. Слушай.

Олег, оказалось, умел быть абсолютно незаметным. Ватсон и Брат о нём совершенно забыли. И только когда Ватсон закончил рассказ, а у Брата иссякли вопросы и уточнения, Олег спросил:

— Брат, а в схроне что-нибудь осталось?

***

Райцентр, в котором жил Олег Семёнов, ещё в конце девятнадцатого века создавался военными и для военных. «Самый первый форпост самой крайней точки России», — писал Арсеньев, шастая в этих местах вместе с Дерсу Узала. За сто лет ничего кардинально не изменилось. Селу в официальных документах присвоили невменяемую аббревиатуру «ПГТ» — посёлок городского типа, но, по сути, главной целью его существования было обслуживание множества военных частей, гарнизонов, гарнизончиков, застав, «точек» и прочего, что укрепляло рубежи всё ещё опасной для соседей родины.

Сам из военной семьи, Олег и игрушки имел военные. Лазали, не думая, что могут подстрелить, по практически не охраняемым складам, воровали взрывпакеты и имитационные патроны, дымшашки и ракетницы, запалы, гранаты — словом, всё, что дымило, свистело и бабахало. Как-то Семёнов и два его особо доверенных корешка соорудили на сопке схрон. Там складировали боеприпасы, не востребованные пока. В начале диких девяностых принёс сюда же, из дома, от греха подальше, раритетную мелкашку тридцать четвёртого года выпуска. С «мосинским», без кожуха, затвором, отлично отцентрованную и пристрелянную. Зато продал городским браткам почти всё остальное. И год жил безбедно.

Осталось от былых богатств совсем чуть: пара ракетниц химоповещения «со свистом», лимонка, две слезоточивые дымшашки. И винтовка. Правда, патронов к ней всего семь штук.

Об этом схроне и спрашивал Олег у Брата.

***

—...а тебе на кой чёрт?

— Во-первых, это вы оба мабутовцы нестроевые, а я ещё вчера в армии служил. И прекрасно помню, чему учили. Оружие, если оно есть, должно быть в порядке и готовым к бою. Боеприпасы — учтены. Во-вторых, сейчас сплошные ваши заморочки, мне делать нечего. А в-третьих, отчего бы просто не прогуляться, я уже забыл, как цивильные люди выглядят!

— К какому бою, чего ты пургу гонишь? Ты что, собрался штурмом администрацию брать или местный отдел ФСБ?

— Подожди, Брат, — вмешался Ватсон. — Олег прав, почему бы всё не проверить, мало ли что...

— Да вы оба, старый да малый с дуба, блин, рухнули, — Брат махнул рукой и, взяв кружку, отхлебнул остывшей растворяшки.

— И, кстати, насчёт проверить, — Ватсон будто не слышал Брата. — Давайте-ка вот... — Ватсон поднялся, подошёл к вешалке, достал из кармана плаща диктофон и упаковочку с микрофоном.

— Ух, ты! — выдохнул Брат, сразу догадавшись, что рассматривает.

— А что это такое? — вытянул шею Олег.

— Это, если я из ума не выжил, диктофон, да? А кассета у него где?

— Он без кассеты. Цифровой, — не очень понятно объяснил Ватсон. — Давайте попробуем.

И нажал кнопочку. Ничего не произошло. Ещё раз. Экран тёмный. Хлопнув вдруг себя по лбу, Ватсон вскрыл аппаратик и достал мизинчиковый аккумулятор:

— Он же у меня без подзарядки валялся!

— Кто?

— Да не «кто», балда, а «что». Аккумулятор. Брат, мизинчиковые батарейки здесь можно купить, я не помню?

— Что мы тебе, совсем дикие? — возмутился Брат. — Можно, конечно, надо только в универмаг сгонять, в центр, там отдел с нормальной электроникой. Не Китай.

— Вот и славненько. Мы с тобой пойдём в центр, купим питание, там и до редакции не далеко, по пути технику проверим.

樂

И вот ещё, — Ватсон достал из пакета уоки-токи. — Вещь конечно детская, но на километр точно берёт. Если с сопочки работать, то и дальше. Сотовых операторов здесь ещё ведь нет? Нет, я помню. Только в двухтысячном появятся.

— Доктор, ты о чём? — спросил не понимающе Олег.

— А это называется — фантастика рядом, — ответил Брат. — Новый вид связи, сотовые телефоны. Но они до нас пока не добивают, только в городе.

— Это типа рации?

— Типа, Олег. Брат, у нас мало времени осталось, пойдём?

— Двигаем, Ватсон. Хотя, подожди. Минут пятнадцать ещё есть. Олег, пошли со мной, чё-то покажу.

Во дворе Брат открыл гараж, там раньше стоял «Урал» с люлькой, давно по старости проданный на металлолом, и выкатил миниатюрную красную «Хонду»-скутер.

— Это, братишка, у меня от прежней кудрявой жизни осталось, когда боеприпасы толкал.

— Это мопед такой?! — Олег, знакомый только с громоздкой советской техникой, был сражён наповал.

— Ага. Автомат. Ни скоростей, ни сцепления. Ключ повернул, как в машине, — и вперёд. Бензина нет только. Хотя сейчас. Во-вчик! Сосед! — За соседским забором возникло шевеление, и нарисовался помятый страдалец Вовчик. — Бензин у тебя есть, соседушка?

— А похмелиться дашь?

— Володенька, да неужели вы все запасы тёщины уже выжрали?

— Да не… — сосед поскрёб в нечистой башке грязной пятернёй. — Моя змеюка меня погнала, ночью ещё. Говорит, её теперь тёщин дом, а у меня, Олега, трубы горят, не могу!

— Давай, значит, волочёшь бензин, а я тебе маципуры. Пузырь. Ещё твоей тёщи продукт, царствие ей небесное.

— Ага, я мигом! — сосед, карикатурно увеличенная копия мультипликационного домовёнка Кузи, скрылся. Слышно было, как он ломится сквозь кусты малины, пробираясь к заветной канистре с бензином короткой дорогой.

Глава 6-я

Вадим Панов походил на коалу-переростка. Добродушный плюшевый мишка под метр восемьдесят. Ёжиком стриженные светлые волосы, круглое лицо, круглые очки в блестящей металлической оправе, постоянная извиняющаяся полуулыбка

на пухлых детских губах. Брат сталкивался с ним довольно часто. Панов приносил редактору какой-нибудь очередной опус о героях-пограничниках и всегда заходил в общий отдел. Поболтать ни о чём. Последний раз Брат встретил Панова вчера, когда, донельзя злой, вылетел из кабинета Тортиллы. Просто кивнул Вадиму и быстро прошёл мимо, хотя тот явно был не прочь пообщаться.

Сегодня Брата ждал в редакции сюрприз. В редакционном кабинете, здоровенной комнате с тремя окнами, шестью столами и книжным стеллажом у стены, было многолюдно. Присутствовали почти все акулы пера, редактор, ответсек, корректор, фотограф и уборщица тётя Нина. Тортилла распиналась перед живописной группой из четырёх индивидуумов. По виду явно не рассейских:

— Да, тов... то есть господа, а это наш ведущий молодой журналист (ого, подумал Брат) Олег Викторович Семёнов. Познакомьтесь, пожалуйста, Олег Викторович, — Тортилла кисло улыбнулась, — гости из Америки, из международного фонда защиты свободы слова.

— Круто, — сказал Брат, — Олег. — И протянул руку самому длинному из компании, лохматому, смуглому, кучерявому, похожему на индуса, одетому в куртку с невообразимым количеством заплат и широкие, художественно разорванные джинсы. С образом индийского бродяги резко диссонировала обувь: даже на взгляд дорогие и удобные туфли из светлой кожи.

— Коллиз, ай эм фром юэсай.

— Пуйя, — следующий по виду был араб арабом, как их по телевизору показывают. Только очень толстый.

— Эрико, — миниатюрная японочка в громадных очках протянула острую, как рыбий плавник, ладошку.

— Татьяна, — ясноглазая девушка абсолютно славянского типа с толстой русой косой, заметив, как удивлённо глянул на неё Брат, пояснила: — я переводчик. Из ребят лучше всех понимает по-русски Коллиз и даже разговаривает немного. А Пуйя и Эрико учатся. Эрико собирает русский фольклор.

— Ну, здесь ей точно благодать будет. У меня вот есть свежий анекдот, как Василий Иванович и Петька в Америку учиться поехали...

— Нет, Эрико интересуют наши сказки, — не дала договорить русская красавица Таня.

— За сказками, Танечка, ей к главе нашей администрации. Ещё не были?

— Нет пока, — у девушки плясали в глазах весёлые чертенята, — с вами поговорим и пойдём. Можно? — повернулась она к Тортилле.

— Да-да, конечно. Товарищи, — Тортилла посмотрела на толкущуюся многотиражную публику. — У каждого есть задания. Глеб Владимирович и фотограф: на заседание совета ветеранов не забудьте. Пал Палыч, у вас что?

— Утренник в детском комбинате, Валентина Андреевна! — бодро отрапортовал ветеран компетентных органов. — Уже бежим!

— Не больше трёхсот строк, Пал Палыч! А Виолетта Васильевна где?

— На улучшении породы, Валентина Андреевна, — доложилась уборщица тётя Нина. — В совхоз быка-осеменителя из Голландии привезли.

— А ей-то зачем… — начала Тортилла, осеклась, густо покраснела и набросилась на технического работника ведра и швабры. — Почему у вас коридор не вымыт до сих пор, почему я должна об этом помнить?!

Брат отвернулся к окну, стащил с лысого черепа тюбетейку и пытался её съесть, чтобы не разоржаться. Не выдержала и прыснула в кулак Танечка. Стараясь хоть что-нибудь понять, напряжённо наблюдал за происходящим американский интернационал. Остальные быстренько растворились. Тортилла прокашлялась, посмотрела абсолютно сумасшедшими глазами на Брата и обратилась к принявшей вид прилежной ученицы переводчице:

— Э-э, Татьяна, мы ждём вас через полчаса у главы, переведите нашим гостям, успеете?

— Я думаю, успеем. Минут через сорок будем обязательно. Спасибо.

Тортилла, распространяя лёгкий запах старушек и китайского дезодоранта, скрылась за дверью. Брат вытащил из пасти тюбетейку и заржал. Татьяна посмотрела на серьёзные лица заокеанской троицы и быстро заговорила. У американцев появилось в глазах осмысленное выражение, они синхронно показали Брату достижения капиталистической стоматологии — улыбнулись — и Коллиз что-то одобрительно пролопотал Татьяне.

— Да вы присаживайтесь, гости дорогие, — встрепенулся Брат. — Кофе хотите? И, Тань, что ты им сейчас наплела?

— Я объяснила, что ваш шеф-редактор — человек широких демократических взглядов и считает, что юмор необходим для усиления чувства корпоративности…

— Это точно, старушка у нас юморная, — сказал Брат, но тут заговорила японочка.

— Извините, Олег, Эрико спрашивает: в этом кабинете работают пишущие корреспонденты?

— У-у, да. А что?

— Нет, ей просто интересно, где у вас стоят компьютеры.

— Чего? Компьютеры? Переведи ей, что компьютеров в редакции нет, и только у меня, как ведущего молодого журналиста, ноутбук. Хотите, покажу?

Демократические колонизаторы одновременно кивнули и оскалились. Брат открыл свой стол, достал предмет всеобщей зависти — портативную механическую печатную машинку «Москва-5М», поставил её на стол и снял крышку футляра:

— Смотрите, гости дорогие. Рашен ноу-хау: ноутбук без единого гвоздя с механическим приводом!

***

Проводив гостей, Брат вышел на крыльцо администрации. Импозантный Ватсон околачивался в пределах видимости. Закурив, Брат неспешно направился в его сторону.

— Ну, как, док, связь? Пишется?

— Всё нормально. Качество сам послушай. — Ватсон нажал коротко пискнувшую кнопку перемотки и из крошечного динамика раздался чётко различимый голос уборщицы тёти Нины: «На улучшении породы!».

— Здорово. И сколько минут вообще пишет?

— Тридцать шесть часов непрерывно.

— Ёпть!

— Ладно, Брат. Ты мне дома что-то сказать хотел, я же видел. Что тебя гложет?

— Гложет меня тоска глубокая, это вообще, а в частности с Олежкой непонятки лишают покоя. Полностью.

— Как он сюда попал?

— Как попал, это тоже. Вопрос в том, откуда?

—...?!

— Понимаешь, Ватсон, в отличие от нас с тобой Олег не служил в Биробиджане и вообще в стройбате. А служил он здесь же, относительно недалеко, и попал к нам в результате какого-то катаклизма. Что-то у него взорвалось, насколько я вчера уразумел. Как это понимать?

С озера дул устойчивый зябкий ветер, Ватсон поправил шляпу и поднял воротник плаща. Об идущем рядом Брате он, казалось, забыл:

— Как это понимать, как-это-понимать, как понимать это…, — на разные лады бубнил он себе под нос. Потом резко остановился. — Брат, давай отложим эту тему пока. Через, — Ватсон резко вскинул левую руку, посмотрел на циферблат часов, — через десять минут Панов будет у редактора. Бодяга у главы уже закончилась, и… Словом, как я говорил: Вадим будет тебя убалтывать, потяни время и соглашайся. Так? Ты всё помнишь, о чём говорили?

Ещё бы не помнить.

По Ватсону получалось, что через четыре года, когда нынешний «мэр» будет баллотироваться на второй срок, он ввяжется в абсолютно бесперспективную войну, стараясь этому помешать. К тому времени Ватсон, и так не питавший особо добрых чувств к бывшему милицейскому полковнику, будет знать слишком много. Взятки в перечне стояли где-то на предпоследнем месте и выглядели сущим пустяком. Основное, чем занимался нынешний районный начальник, были наркотики и контрабанда.

Ватсон рассказывал, как на него, Ватсона, в двухтысячном вышли люди и предложили денег на своё издание. Условие одно — работать против полковника и не врать. Согласился. Пока деньги были, выпускал газету, резкую, опасную, на грани фола.

Дальше — классика. Кого-то купили, кого-то убрали, с кем-то договорились.

С Ватсоном договариваться смысла не было. Газету задавили судебными исками, а его даже не убили. Так, покалечили и объяснили, что будет с его женщиной. Женщину пришлось бросить. Холодно, цинично, чтобы не дай бог, ни о чём не догадалась и не вернулась.

Потом, на чистом упрямстве, ещё повыпендривался, где-то публиковался, у кого-то искал правду, пожил в психушке, лишился дома. На фоне старых травм развилась скоротечная онкология. Всё.

«Брат, — спросил Ватсон, — тебе нужна будет ТАКАЯ жизнь?!»

***

Вадим Панов достал сигареты и предложил Брату. Брат закурил свои.

— Я рад, Олег, что поговорил с тобой, и ты всё воспринял правильно.

— Ладно, Панов. Ты меня не лечи. Давай лучше повторим, что завтра нужно делать.

— В редакции наш человек передаст тебе деньги. Никаких кукол, всё настоящее. Среда — день приёма по личным вопросам, и тебя мы запишем первым. Зайдёшь к полковнику, главное, будь полностью естественным. Помни, тебе НА САМОМ ДЕЛЕ нужна эта квартира. Ведь дом, в котором ты живёшь, не твой?

— Да. Я в нём даже не прописан. Он на Татьяну, мою сестру, оформлен.

— Ну вот. В любой момент вернётся она из Гомеля со своими бульбашатами, куда денешься? Ты ведь с полковником после этого о квартире разговаривал?

— Да раз десять! Обаятельная улыбка птеродактиля, похлопывание по плечу и «решим обязательно». Достал.

— Ничего, на баксы это чмо ведётся, как корюшка на поролон. Заходишь к нему, плачешься на тему, что родственники возвращаются, жить негде. Главное, чтобы он до денег дотронулся. Дальше — наша работа.

— В общем, просто. Я понял. Зашёл, сунул голову в петлю, тело вынесли.

— Ну что ты городишь? Думаешь, подобная работа проводится впервые? Или ты один такой героический незаменимый?

— Да ладно, Вадим. Можно же себе цену набить, правда?

— Морду тебе можно набить, — обиженно засопел гэбэшник.

— Панов, а ты сейчас капитан?

— И что?

— Полковника посадишь, майора дадут, наверное?

— Дадут. Догонят и ещё дадут.

— Я к тому, что мне-то звания ни к чему, мне бы квартирку, всё-таки, а?

— Ну, ты жук! А такого правдолюбца-бессеребренника из себя корчил! Ладно, я думаю, мы решим этот вопрос…

— Где-то я уже такое слышал, — задумчиво протянул Брат.

— Вали отсюда, шпана! — взорвался Панов. — Всё — завтра. Как отработаешь, так и полопаешь.

— Пока, капитан. Пойду я. Хотя, — Брат остановился, взявшись за ручку двери, — это ведь ты в моём кабинете.

Тяжёлый том Ожегова врезался в стену над его головой, и Брат, хохоча, выскочил в коридор.

***

Ватсон стоял на площади напротив администрации, а вокруг него, оседлав «Хонду», нарезал круги Олег.

— Ну что, дядя, — Брат подошёл и ловко пнул по заднему колесу заходящую на новый круг «Хонду», — как племянничек справился с домашним заданием?

— Нормально. — Ватсон снял и спрятал в карман наушник. — Хотя под конец увлёкся немного, мог переиграть.

— Рокер этот давно подкатил?

— Только что. Возмущён состоянием арсенала. Но в целом, кажется, вполне доволен и что-то задумал, по-моему. Вообще я удивляюсь его лабильности, воспринимает происходящее как игру.

— Это правильно. Здесь, если быть серьёзным, раньше времени окажешься в психушке. Кстати, как там, вообще, Ватсон?

— Будешь выпендриваться, узнаешь. Олег! Кати к дому да по пути затарься хорошенько. Бабок ещё дать?

Олег отрицательно мотнул головой и поддал газу. Тихо урча, скутер быстро скрылся за ближайшим зданием. Ватсон проводил его взглядом, непонятно о чём вздохнул и сказал:

— Ну вот. Пойдём, что ли, коллега?

Глава 7-я

— Доброе утро, Олег Викторович. А что это вы на работу вышли? Общайтесь с родственниками, отдыхайте, я же вас отпустила, — Тортилла благоухала свежим дезодорантом, щедро вылитым поверх вчерашней синтетической кофточки.

— Здрасьте, Валентина Андреевна. А я не на работу. Я к главе. — Брат наклонился к Тортилле и, заговорщицки понизив голос, сказал ей на ухо — Мы договорились обсудить сегодня новые направления в работе районной прессы. Ну и некоторые кадровые перестановки в редакции. Извините, опаздываю, сам ждать не любит.

Брат столкнулся с Тортиллой, выйдя из соседнего кабинета. Там он получил деньги от плоского серого человека, который, казалось, не имел даже тени. Серый, отдавая конверт, произнёс невыразительно и бесцветно: «Встреча через четыре минуты. Будьте естественны и не беспокойтесь. Мы рядом». «Это меня больше всего и беспокоит», — брякнул Брат, забрал, не глянув на содержимое, конверт и аккуратно прикрыл за собой дверь.

Третий этаж, по лестнице через ступеньку, «здрасьте» встречным, приёмная. Прямо — секретарша Алевтина Георгиевна, тёмная тяжёлая дверь с крупной, под медь, табличкой — направо. «Вас ждут, товарищ Семёнов», — кивок, дверь потянул на себя, вдохнул-выдохнул.

Ну-с, понеслось.

***

Ватсон напряжённо слушал, прогуливаясь то перед входом в администрацию, то останавливался покурить под окнами кабинета полковника. Пока всё шло нормально. Кажется. Но Ватсона не оставляло ощущение, что он упустил что-то важное. Чего-то не предусмотрел. Не додумал. Достал рацию, ткнул кнопку вызова:

— Олег, ты где?

Динамик после паузы прошипел:

— Как договаривались, веду наблюдение из своего сектора. Тебя вижу. Ты поменьше суетись, Ватсон. Нервный слишком, ходишь, как маятник. Всё нормально, чёрный ход я тоже вижу, если будут выводить через него, замечу. Ага, машины подъехали. «Волга» гэбэшная, наверное, и «джип», тот, что ты мне вчера показывал, который у дома полковника стоял. Из него сейчас качки высыпались. Три штуки.

— Какие качки, Олег, что ты городишь?

— Не знаю. Двоих вчера точно видел, с вашим ментом-уродом. Третий, Ватсон, к «волжанке» пошёл. Ё! — рация замолчала.

— Олег, что там, почему замолчал?

— Ватсон… Третий с вашим знакомым кренделем беседует.

— С кем?!

— С Пановым… Вадиком.

***

Олег соображал быстро. В разведке по-другому никак. В голове, как муха о стекло, билось не понять где услышанное: «Других не берут в космонавты, других не берут в космонавты…» Или там не так пели?

О том, что что-то не так, Олег вполне определённо догадался ещё вчера. Вопросы, которые задавал ему Брат, странные изучающие взгляды, что ловил на себе. Непонятно. Пока Брат и Ватсон возвращались пешочком из редакции, Олег увидел на шкафу в комнате фотоальбом. Оказалось — дембельский. С грустью рассматривал себя в окружении незнакомых людей, выпавшие открытки с видами Биробиджана, читал дембельские пожелания от друзей, которых у него никогда не было. Потом, аккуратно закрыв, положил альбом на место, задвинул его поглубже к стене и пошёл чистить картошку.

В схроне, проверив и почистив мелкашку, Олег пожертвовал двумя патронами. Просто чтобы вспомнить. Винтовка с толстым стволом выплёвывала свинец практически бесшумно, цель — тонкая ветка метрах в тридцати после каждого выстрела

укорачивалась. Нормально. Сейчас в кармане пятнистой куртки Олега лежала единственная оставшаяся из запасов лимонка. Так, на всякий случай. Олег поудобнее устроился на седушке «Хонды» и завёл двигатель.

***

— ...и вся эта моя внешность, поведение — они ничего не значат. Ну, игра у меня такая. А я ведь вам говорил, я прекрасно понимаю, как сложно сейчас хоть что-нибудь сделать, даже вам. Зарплата вон, не от хорошей жизни нам её продуктами дают, да? И потом, сейчас за всё надо платить, это ведь тоже понятно. Надеюсь, с моей маленькой проблемой всё-таки можно что-нибудь будет сделать...

Брат положил на полированную крышку стола конверт и подвинул его к сидящему в необъятном кожаном кресле человеку. Тот, ни мало не смущаясь, открыл конверт, достал деньги:

— Ну-ну, поглядим, чего это здесь такое положили. Раз, два, три... Ух, молодцы. Целая тысяча. Уважают меня, да, Олег Викторович? Да вы присаживайтесь, чего столбом-то. Садись, говорю. Что-нибудь будете? Чай, кофе, водочки?

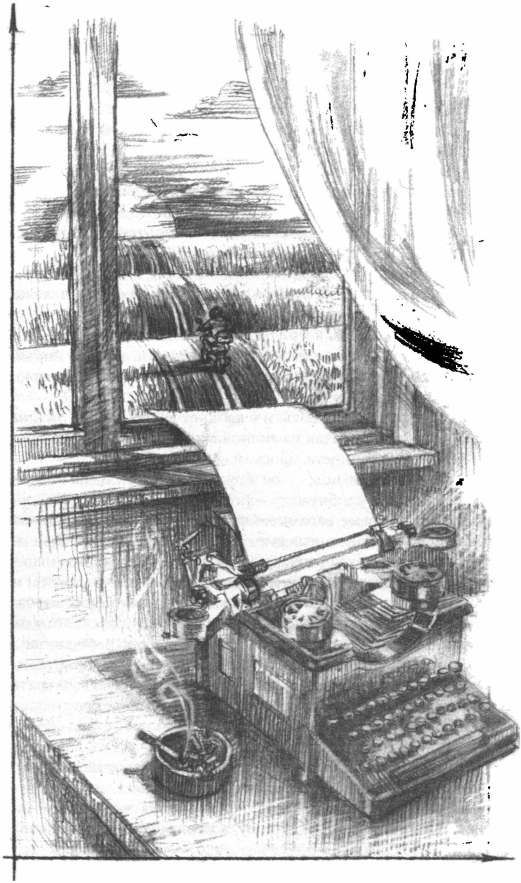
Тяжёлая дверь открылась, и в кабинет вошёл Панов. За ним тяжело шагнули три качка из личной охраны полковника и проскользнул тот, из кабинета, плоский и серый.

— Молодец, Семёнов, — одобрительно сказал Вадим и широко дружелюбно улыбнулся. — Всё правильно сделал. Но, понимаешь, друг, новые вводные. Операция «Взятка» отменяется. Сегодня приняли такое решение. Только что. Сейчас главное — стабильность на всех уровнях, люди, Олежка, устали от потрясений. Квартиры, извини, тебе не видать, но мы сейчас поедем и поговорим немного. Что ты мне вчера плёл о плантациях конопли под Князевкой, якобы они нашему главе принадлежат? Свидетели какие-то... Глупости. Вот об этом подробнее и расскажешь.

— Короче, господа, давайте вываливайтесь из кабинета. — Хозяин встал из-за стола и подошёл к продолжавшему стоять Брату. — Эх, жаль работы много. Совещание краевое через сорок минут. Губернатор будет. А то я б с тобой поговорил, сука. — И коротко ткнул его пальцем в печень.

Наклонив к плечу массивную голову, с любопытством посмотрел на согнувшегося Брата и обратился к Панову:

— Вы его отвезите на озеро, в бухту. И порасспросите подробнее, потом доложите. Идите, ну, а то он мне здесь весь ковёр облюет.



Брат, наконец, смог вобрать в себя немного воздуха, со стоном разогнулся и, криво улыбнувшись, сказал гэбэшнику:

— Сволочь ты, капитан Вадим Панов… И ты, и этот фашист жирный…

— Ну ладно, ладно, давай без патетики, — Вадим улыбнулся ещё дружелюбнее. — Не будем мешать человеку работать. Пойдём, Олег, и очень-очень спокойно. Без твоих клоунских штучек, договорились?

***

Ватсон слушал шаги спускающихся по лестнице людей. Всё произошло слишком быстро, он ничего не успел предпринять и даже придумать толковое. Вызвал Олега.

— Олег, Брата сдали. Подставили. Значит, так, смотри, куда его повезли. Скорее всего, в бухту. Наблюдай, ни во что не ввязывайся, пока связь будет, обо всём сообщай мне. Я попытаюсь здесь что-нибудь сделать. Приём.

— Ты уже попытался… Урод. Пошёл ты! — Олег отключился.

Ватсон стоял, постукивая тростью о бордюр, потом положил в карман рацию и достал, разглядывая, будто впервые увидел, диктофон. Мимо него быстро проехали две машины: чёрная «волга» с выключенной мигалкой на крыше и тяжёлый джип со служебными номерами.

***

Олег посмотрел вслед удаляющимся машинам. Если Брата везут в Лесную бухту, тогда только по военной дороге. Джипяра, тот везде пройдёт, но Брата, он видел, заталкивали в «волгу». У неё посадка низкая, движка дохлая. Да, только по военной. Так. Сколько их? Из джипа выходило трое, один оставался за рулём. Четверо. Панов выходил из волжанки один, вернулся с какой-то бледной немочью в штатском. И с Братом. Ещё водитель. Значит, трое в «волге». Семь. Нормально. Разберёмся. Олег крутанул ручку газа и поехал между домами в сторону недалёкого леса и сопок. К озеру.

***

Брату было очень страшно. До жути. Он лихорадочно искал выход и не мог придумать ничего вменяемого. Совсем. Мимо промелькнули последние дома окраин, машину мягко тряхнуло: свернули на грунтовку. На заднем сиденье, слева, сидел крепкий мужик лет за сорок, не обративший на появление Брата в салоне,

казалось, никакого внимания. Справа свободно расположился Панов. Серый сел рядом с водителем. Брату не связывали рук и не надевали наручники. К чему?

— Вадимка, — повернул голову к Панову Брат, — сигареткой угости. Я вчера обратил внимание, у тебя «Bleak Captain».

— Угостись, внимательный ты мой. Только договоримся, не называй меня Вадимкой. Не люблю.

— Значит, замочите меня? Зачем? Смысл?

— Фу, ну что за жаргонизмы. «Замочите». Аннулируем. Чтобы не вонял, понятно?

Немного ехали молча.

— Вадимка, — Брат снова глубоко затянулся, — а хочешь, я тебе чего-то покажу? Воротничок курточки моей подними, видишь иголочку со шляпочкой? У тебя по средствам электронного прослушивания, или как это там называется, в училище какая оценка была, а?

— Ну-ка, тормози, — резко скомандовал Панов водителю. «Волга» остановилась. Сзади взвизгнул тормозами джип. — Петрович, — бросил мужику, сидевшему у левой дверцы, — обыщи этого козла. Неужто я лоханулся? — и неуловимым движением ударил Брата костяшкой согнутого указательного пальца куда-то под ухо. Брат обмяк. — Это тебе за Вадимку. Ну что там у тебя, Петрович?

Две машины стояли на грунтовой дороге. Слева поросший кустарником овраг и стена монгольского дуба за ним. Справа — пологая сопочка, покрытая густым молодым осинником. Впереди проглядывала сквозь деревья гладь озера.

***

Ватсон шел, аккуратно ступая и тяжело опираясь на трость. К хорошему привыкаешь быстро, а за это время он успел основательно подзабыть, какая она бывает — боль. Скрутило резко, когда он всё ещё стоял у здания администрации и смотрел, как подъезжают, заполняя стоянку служебные автомобили. Что там говорил полковник, краевое совещание с губернатором?

Тротуар свернул к приземистому каменному зданию с узкими окнами, забранными тяжёлой чугунной кованиной. РУЭС — районный узел электрической связи. Здесь, помимо другого прочего, находился радиоузел. Местных передач, Ватсон помнил, не было уже с год, с тех пор, как в редакции сократили штатную единицу радиокорреспондента. Но передачи государственной станции ещё транслировались. Пластмассовые проводные приёмники

были, наверное, в каждой второй квартире райцентра. У Ватсона в доме тоже висел такой: каждое утро в шесть часов будил его звуками заунывной классической увертюры. Были приёмники и во всех кабинетах районной администрации.

Чтобы попасть в радиоузел, надо пройти через кандейку электрика Алексеича, пенсионера с солидным стажем, постоянно, как и полагается электрикам, не трезвого. Ключ от массивного висячего замка, на который запиралась железная дверь радиоузла, тоже был у него.

— Добрый день, уважаемый.

Дремлющий электрик тяжело поднял голову от верстака, на котором среди проводов и инструментария приютились пустой стакан и консервная банка. Щурясь сквозь толстые стёкла очков, дед попытался разглядеть визитёра.

— Радиоузел готов?

— Э-эт, к чему он готов?

— Я не понимаю, — Ватсон добавил в голос металла, — что у вас здесь вообще происходит? Раз ваш директор на совещании с губернатором, значит, пьём на рабочем месте? Фамилия! — рявкнул Ватсон и направил на электрика наконечник трости.

— П-петров наше фамилие, а эт-т чего делать, а?

— Снимать штаны и бегать! На пенсию, к чёртовой матери! Через пять минут транслируется совместное обращение губернатора и главы администрации к жителям района, а тут, на хрен, бардак и пьянка!

— Да я эт-т, не было приказа, я эт-т, не виноватый, не говорили мне…

Ватсон убрал трость и чётко, раздельно произнёс:

— Радиоузел. Открыть. Потом. Бегом. Марш. За мастером, твою мать!!!

Ватсону приходилось здесь бывать. В самом начале газетной карьеры сделал пару выпусков молодёжной передачи, которую сам же и придумал. Сел, включил тяжёлый стационарный магнитофон, наклонил ближе штатив микрофона. Прокашлялся, включил запись и заговорил.

— Внимание. Говорит местный радиоузел. В студии — корреспондент Олег Викторович Семёнов. Уважаемые земляки! Сейчас вашему вниманию будет представлена запись двух бесед. Первая запись — мой разговор с капитаном ФСБ Вадимом Пановым. Вторая — с главой администрации района. Вы узнаете его голос. В настоящий момент меня, корреспондента Олега

Семёнова, скорее всего, нет в живых. Записи понятны без комментариев. Прощайте.

Потом поднёс диктофон к микрофону и переписал на ленту оба разговора. Включил трансляцию, воспроизведение и тумблер реверса. Теперь запись будет повторяться, пока кто-нибудь не сможет попасть внутрь. Отключить радиоузел снаружи невозможно, он запитывается автономно от федерального кабеля. Окон нет. Вскрыть запертую изнутри дверь, мощную, как в бомбоубежище, смогут не сразу и не скоро.

Ватсон с трудом достал сигареты и закурил.

Когда через три часа дверь вскрыли автогеном, магнитофон в очередной раз говорил голосами Панова и полковника.

В помещении никого не было.

***

Олег залёг за серым мшистым валуном и определил ещё пару запасных позиций. Группка густо стоящих молодых осинок — раз. За ними углубление, очень похожее на стрелковую ячейку, — два. Достал обе дымшашки, рядом положил ракетницы. Взвёл затвор винтовки и аккуратно прислонил её к валуну. Слева от камня положил «лимонку». Всё делал размеренно, обстоятельно, не позволяя себе думать о том, что автомобили в любой момент могут сорваться с места. Почему они сейчас остановились, не думал тоже. Некогда.

Зажёг термитные спички обеих дымовух, и пока они разгорались, выдернул заглушки ракетниц и вытряхнул наружу шнуры с металлическими кольцами. Начавшие гореть шашки, не высовываясь из-за укрытия, бросил в неглубокий кювет перед «волжанкой». Получилось удачно: дымящие картонные цилиндры легли метрах в пяти друг от друга. В машинах всё ещё ничего не заметили, но теперь надо было спешить.

От взрыва «лимонки» джип подпрыгнул, но корпус казался целым. «Бронированный он, что ли?» — удивился отстранённо Олег. Дверцы машины распахнулись, кто-то попытался выскочить. Олег привстал на одно колено и, целясь в салон, выстрелил — одна за другой — из обеих ракетниц. Первая срикошетила от капота и с диким воем ушла вбок и вверх. Вторая легла удачнее. На факел, в который превратилось недавнее чудо японской техники, Олег не обратил внимания. Поймал в прорезь прицела голову выскочившего уже с пистолетом в руке пассажира, бывшего рядом с водителем. Мягко нажал на спуск. Пока пассажир странной тряпичной куклой оседал на дорогу, Олег перезарядил мелкашку.

Надо менять позицию. Ядовитый серый дым шашек стелился над дорогой, почти скрыв «волгу». Это было плохо, Олегу не было видно противника. Но тем, кто находился в машине, приходилось гораздо хуже. Из клубов дыма прямо на него выскочил кашляющий человек с сумасшедшими вытаращенными глазами. Олег просто приподнял ствол и выстрелил. Выстрела за треском горящего джипа слышно не было, казалось, что бегущий человек просто споткнулся. Олег перекатился в «ячейку», и только тогда в его сторону начали стрелять. Били из АКСУ и, кажется, «Стечкина» по камню, верно определив его как наиболее вероятную позицию стрелка. Олег, загнав в казённик патрон — в кармане оставалось последних два, — осторожно выглянул из укрытия.

И тут рванул джип.

«Чё-ёрт, что они в нём, снаряды возили?» — Олег помотал глухо гудящей головой. Сильный порыв ветра с озера согнал ядовитый дым в овраг. Со стороны дороги никто не стрелял. Неловко встав на ноги, почему-то уверенный, что стрелять больше некому, он пошёл к «волге». Машина осела и странно накренилась влево. Пока горел только багажник, но пламя в любой момент могло охватить всё. «Сейчас, братка, — Олег не чувствовал, что разговаривает вслух, — сейчас я тебя оттуда вытащу. Я их поубивал. Я их, гадов, всех поубивал. А мы пойдём сейчас… Домой. Вместе». Правая задняя дверца была открыта, и из салона наполовину выпало на дорогу чьё-то тело. Рядом валялся короткий автомат. Схватив труп за воротник куртки — Олег не сомневался, что это труп, вытащил его на грунтовку. Посмотрел в мёртвое лицо. Ага. Отстрелялся, Вадимка. Брат сидел, согнувшись и неловко уткнув лоб в переднее сиденье. Олег догадался, что он, может быть, контужен или даже ранен. Ну, конечно, ранен, вот видно на груди слева, пятнышко маленькое, с пятикопеечную монету. Крови, слава богу, немного. Бросил винтовку, подхватил Брата подмышки и потянул на себя. Сейчас главное — вовремя попасть в больницу. А там и операцию сделают, а если кровь нужна будет, то у него, Олега, её вон сколько. Главное, такая, как надо. Олег потом даже мудака Ватсона простит. Всё будет хорошо.

Тот, кого Нанов называл Петровичем, был отброшен тугой ударной волной вниз, в овраг. Перед тем как вывалиться из салона и открыть стрельбу вместе с капитаном, за два мгновения до взрыва, он приставил «Стечкин» к груди находившегося всё ещё без сознания Брата и нажал курок. Сейчас он стоял на краю оврага у разгорающейся «волги» и целился, как в тире: расставив ноги, поддерживая правую руку левой. Выстрела Олег не услышал.

Глава 8-я

Дерево в камине умирало весело, с огоньком. Мне нравится смотреть, как пламя ласково гладит, облизывает, будто пробует на вкус аккуратные одного размера берёзовые полешки, а потом жадно вгрызается в них целиком, истончает, делает сначала весёлыми ярко-рубиновыми, а потом мёртвыми, пыльными и чёрными. Подбросил ещё.

Сегодня был трудный, но в целом удачный день. Как ловко я срезал этого надутого павлина из Контрольной Комиссии, как схватился он за свой жирный бок, думая, что именно там у него должен находиться тот кусок мяса, который скоро доведёт его до инфаркта. И вообще, время Москвы уходит. Второй Питерский Папа подряд уверенно идёт на второй срок. А там, глядишь, и на третий. Только идиот не заметит очевидного и не сделает правильных выводов. Я — не идиот.

Кстати, надо бы поработать с яйцеголовыми из аналитического отдела. Ну-ка, что они там такое загоняют: «...в качестве математической модели системы предвыборной кампании может выступать только модель на основе расплывчатых множеств, а именно развивающаяся система с дискретным временем при нечётко заданных условиях». Ещё одна такая докладная записка у меня на столе, — удавлю подлецов. А потом уволю. Удавлю и уволю, так. Какая на хрен «математическая модель»! Хлеба, зрелищ, водки. Чтобы дёшево и много. Желательно вообще даром. Пообещай — и всё твоё. Вот вся система. Быдло это жрёт и чавкает уже двадцать с лишним лет, а перед этим жрало ещё семьдесят. Выборы, мать вашу.

Ладно, всё к чёрту. Может, выпить сегодня немного? Только немного. Справедливости ради надо признать, я вчера слегка перебрал. Перейти, что ли, на винишко? Но ведь терпеть не могу эту косорыловку. «Ах, букет! Ах, аромат!» Тьфу. Не сегодня.

Фужеры, рюмки к дьяволу. Стакан подойдёт. Эх, где мои семнадцать и обыкновенный гранёный стаканишко? Надо сказать, пусть в бар парочку поставят. Для ассортимента. Где мои семнадцать лет... Вот уж привязалось, не отцепится. Чего хорошего в тех семнадцати? Всегда: начинаю думать о так называемом «прошлом» — зло берёт. Неизменное прошлое — удел плебса. И прошлое, и будущее делаем мы. Самое смешное, что это элементарно, никто просто не берёт на себя труд подумать. Любой, кстати, не только предвидит своё будущее по нескольку раз в день, но моделирует и изменяет его. Простейший пример: переходишь через дорогу, так? Едущий по ней автомобиль ты можешь пропустить,

стоя на обочине, пойти быстрее и избежать столкновения, дождаться зелёного сигнала светофора. Во всех случаях ты предвидишь, моделируешь, изменяешь собственную судьбу в будущем, даже не задумываясь об этом. Ведь стоит пойти медленнее или остановиться — тебя собьют. Это, конечно, утрированно, но смысл примерно такой. Существует, естественно, множество других факторов, способных повлиять на твоё будущее в этом примере: гололёд, неисправные тормоза, пьяный водитель, в конце концов. Здесь как раз и важна степень владения информацией и её, информации, качество, умение мыслить, анализировать и сопоставлять.

Дальше — простейшая логика: если можно изменить будущее, которое ещё не произошло, то прошлое, которое уже состоялось материально, изменить ещё проще. Любой материальный объект можно перестроить. Хоть забор вокруг дачи, хоть египетскую пирамиду. Прошлое — весьма хрупкое здание, которое нужно периодически не только белить-красить, но и капитально ремонтировать. Как? С помощью тех же ингредиентов — смотри выше по тексту. Тут нюансы очевидны. Обладание объёмом качественной информации, личные способности к мышлению и анализу, получение требуемого результата — это не для быдла. Не забираясь глубоко в дебри, осмелюсь утверждать, что со времён изобретения алфавита существовали мы. Переписчики.

Нальём свеженького. Что тут у нас? А давай водочки! Правильно, брат, скушаем её, родимую. Что я там говорил про дебри? Ага — углубляться не стоит. Потому что это история. А кто её знает, историю? Тот, кто её делает. Мы. Государства переписывали, если возникала необходимость. Из Атлантиды сказку? Легко. Из Гипербореи миф? Да сколько угодно. Да что далеко ходить, как красиво сначала сделали, а потом переписали «родину Великого Октября». Вот это люди. Профессионалы. Хотя и мы кое-чего умеем. Да.

Не касаясь настоящего, подписка, знаете ли, неразглашение, вспомните лучше Евгения Ольховского. Не помните? Правильно, мои хорошие. И не вспомните. Потому что его не-бы-ло. А Большую Бомбу сделал дядя Оппенгеймер, это все знают. Почему Ольховский был неудобен, почему его переписали — не нашего ума дело. Хотя стоп, я ничего не говорил, это уже нулевой допуск.

А сколько их было, вообще, которые пыжились, воздух портили, доказывали кому-то чего-то. Миллионы. Ау, вы где, миллионы? Потерялись. Смешно.

...Не-ет, тут вы, конечно, правильно интересуетесь. Кто что охраняет, тот это и имеет. Главное — меру знать. Но для себя чего ж не постараться? Хотя у меня материал трудный попался. Брат, Ватсон, Олег — святая троица, намучился с ними. Всё горе мира от таких идиотов. Надо было всего-то, когда Вадимка Панов предложил полковника подставить, взять конверт и всё полковнику рассказать. Я так и сделал. Мент, конечно, сволочь, но многому научил. С людьми познакомил. Сейчас на пенсии, козёл, но руку на пульсе ещё держит. Или лапу на горле. Ничего, ему недолго осталось. А Панова я даже переписывать не стал. Уволил, на хрен. Не человек — вошь. С героем-разведчиком Семёновым промашка вышла. Чуть не испортил всё, стрелок ворошиловский. Но это моя ошибка. Что называется, запятую не там поставил.

А талантливый я, чертяка! Ведь в девяносто шестом ещё ничего ж не знал, не соображал, не догадывался, сам по себе, корреспондентишка вшивый, а чуть такую модель не отгрохал. Красочки сгустил, конечно, но оно и понятно — идеалистик, розовые сопли. Как бишь моделька называлась? Ага — «Чистое небо». Сказка для взрослых. Иногда даже жаль, что с этой работой в краткосрочной оперативной памяти так много лакун образуется. О чём пытался писать тогда, не помню толком. Но это и не важно. Не было — значит, не было. Померла, так померла. Сейчас главное, чтобы ни одной сволочи и в голову не пришло на меня наехать. Я их, сук, всех на абзац вперёд вижу. Все у меня вот где будете!

Эк, меня... пе-реб-рал. А кому какое дело? Это моя жизнь, слышите?! Я переписать себя не позволю. Надо — и Питерским Папой займусь вплотную.

...Вы ведь всё равно ничего не заметите.

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

Наблюдатель

Рассказ

1. Луна

— Инструкция к магнитофону «Маяк-203». Чтобы включить режим записи, необходимо нажать красную кнопку и, удерживая ее, нажать ручку вниз и повернуть вправо. Ага, закрутилось! Раз, раз, проверка. Стрелка прыгает. Ну, уважаемые воображаемые, как говорится, поехали!

Честь и слава космонавтам! Они гордость планеты, всего человечества. Они, не щадя живота своего, прокладывают... нет, так нельзя. Так говорить нехорошо, потому что они иногда погибают. Нехорошо говорить, даже если, кроме магнитофона, никто тебя не слышит. Надо сказать вот так (сейчас, только перемотаю назад): они, презрев опасности, прокладывают человечеству путь к звездам! Они быстры и решительны. Они не знают колебаний и сомнений. Они легко летают на третьей космической, вторая для них обычна и обыденна, а уж первая — тьфу, не стоит разговоров...

Они — боги, возносящиеся в небеса на ревущих носителях, к которым простым смертным запрещено даже подходить ближе трех километров. Они не боятся взлетать, полулежа на тысячах тонн жидкого кислорода и ядовитого диметилгидразина, горением которого управляют невероятно сложные системы, имеющие теоретически неустранимую (и весьма заметную) вероятность отказа. Их не пугает и то, что САС[1], висящая над их головами, содержит целую тонну

[1] Система аварийного спасения.

пороха, которому случайно вспыхнуть — что мне два пальца обосс... обмочить.

Космонавты — боги, несущиеся к Земле в огненных болидах спускаемых аппаратов; их отважные сердца не дрожат из-за опасности невыхода парашютов; им неведом страх. У них железное здоровье и мужественная внешность. Они одинаково легко ходят по Луне, Марсу и красной ковровой дорожке. Молодежь всего мира мечтает... хотя сейчас уж мало кто... ну, все равно, скажем так: молодежь всего мира равняется на героев-космонавтов и хочет свою жизнь делать с них. Они подобны танкам, что стремительным ударом прорывают фронт пространства и времени. И, само собой, получают абсолютно справедливые и честные награды. Хвалу и почет. Ордена и медали. Любовь женщин и признание народа. Ласку властей, и своих, и забугорных. Самое поразительное то, что эти подвиги они считают обычной работой и совершают их вовсе не ради славы и, уж конечно, не ради денег. Разумеется, они в меру честолюбивы и в меру амбициозны, а как же иначе? Иначе милости просим в сантехники. Вот так-с.

Они прорывают фронт. А за передовыми частями идут те, на чью долю выпадает рутинная работа по освоению завоеванных территорий. Всякие там трофейно-похоронные команды. Тьфу ты, типун мне на язык... сейчас перемотаю... как же это называется... э-э-э... кажется, обоз. Вот правильное слово. Дальше идет обоз, то бишь мы, скромные наблюдатели. Гнутенькие и корявенькие... ну, это я уж через край... ладно, скажем так: обыкновенные нестроевые части. Те, кто проработал в космической отрасли долгие годы, но в космонавты так и не сподобился.

Космонавты — потомки летчиков. Их так поначалу и называли: летчик-космонавт. Да и сейчас летная практика у них обязательна. А мы потомки испытателей, людей совсем другой профессии. Ну, вот сравните: летчик-космонавт и наблюдатель-испытатель. Первое заставляет выпрямить спину и поднять глаза к звездам. А второе — согнуться и впасть в тоску. Потому что главное (и единственное) качество, за которое нас ценят, это терпение.

Не подобрать слова, чтобы выразить всю глубину нашего профессионального терпения. Воловье — чушь. Ни один вол не вытерпит того, что выпадает нам. Ангельское? Скорее уж дьявольское. Ведь как все начиналось, когда еще ничего не знали? И чем занимались испытатели? Правильно, испытывали.

Взять, к примеру, скафандр. Все просто. Берешь инструкцию, читаешь: в данном скафандре можно пробыть в вакууме

столько-то часов, в морской воде столько-то, сидеть жопой в снегу столько-то, в горячем песке — столько-то. А откуда эти цифирки взялись? Вот то-то и оно. Наш брат испытатель все это на себе проверил. Терпение, товарищ! Посиди в снегу еще часок! Что? Отморозил яйцы? А датчик, воткнутый тебе в шоколадный глаз, показывает тридцать шесть и две десятых! Вот как будет тридцать пять и девять, тогда... Это теоретически допустимый предел. Ты до него досиживаешь, мы записываем время. Потом идешь получать «тугрики» и отогревать гениталии. А то вдруг космонавт приземлится в зимний лес, а в инструкции ни слова!

Вот и представьте вола на нашем месте.

Мы попали в дыру между практикой и наукой. Орлы-космонавты монтируют на Луне научные станции (честь им и хвала!), соколы-ученые используют данные оттуда для своих диссертаций (хвала и честь!). А кто изо дня в день добывает эти данные? Догадались? Мы, серые ослики. Тянульщики унылых лямок.

Терпелив, как наблюдатель, — вот как надо говорить.

Постройка научных станций — дело жутко дорогое. И доставляемый с Луны гелий-три пока что окупает только собственную добычу. А посему станция делается в расчете на одного человека. И все по минимуму. Она сделана из пустого топливного бака — четыре метра в диаметре и шесть в длину. Правильно, чего добру пропадать? В ней полно аппаратуры, но есть крошечный столик, стульчик и спальное место размером с гроб. Склад воздуха, воды, харчей и расходных материалов под полом. Микробиотуалет. Шлюз вообще надувной, тряпочный, снаружи валяется. Все это хозяйство спрятано в стенку кратера. От метеоритов. Они, вообще-то, по большей части пылевидные, не пробьют и скафандра. Но попадаются и очень крупные, с горошину. А это уже серьезно. Их удары даже сейсмограф регистрирует. В этом отношении наиболее опасны Персеиды[2]. Так что если бы не защита скал, метеориты давно бы продырявили мою избушку, ведь ее титановые стенки не толще, чем у пивной банки, ей-богу. Эх, пивка бы сейчас! С соленой рыбочкой... Но чур! Никакой расслабухи!

Зато у меня есть окно. Большой круглый иллюминатор с прекрасным видом на равнину. Постройка станций, как я уже сказал, стоит сумасшедших денег, и делать станцию двухместной, только для того, чтобы кто-то не сошел с ума, было бы просто неразумно. Потому что все надо удвоить. Объем, воздух, воду, харчи. Емкость «тубзика». К тому же не факт, что эти двое не поубивают друг друга по причине взаимной надоедливости.

[2] Один из периодических метеорных потоков.

Вот тут-то и пригодились способности испытателей. Нам ведь сурдокамера — что дом родной. Это у космонавтов там глюки возникают, им подавай активные действия. Мы же устроены по-другому.

Тепло, светло, есть-пить дают, зарплата идет, делать ничего не надо — измеряй себе давленьице да пиши впечатления в журнальчик. Опять же «тубзик» там земной, обыкновенный. Так что пописать-покакать — одно удовольствие, не то, что на Луне. И даже в душе можно помыться. А это, если кто не знает, полное счастье. Потому что на станции только влажные салфетки. Ну, какого еще надо? Самое главное — ты прекрасно знаешь, что все это на Земле, то есть понарошку. Вот она, стенка — тук-тук-тук. Три сантиметра до пивка и соленой рыбочки. Куда спешить? Оно не уйдет. А чем дольше ждешь, тем вкусней покажется. Сиди-посиживай. Лежи-полеживай. Пиши-пописывай. Генка, сменщик мой, помнится, полтора месяца однажды в сурдокамере просидел, пока его взашей оттуда не выперли. Отожрался там, отоспался, морда бородатая еле в дверь пролезла. В лабораторный журнал со скуки разной белиберды понахреначил:

«Светка, я тебя люблю».

«Спартак — чемпион!»

«Я на вишенке сижу, не могу накушаться,

Дядя Ленин говорит — надо маму слушаться».

Психологи наши как журнал увидели — ага, свихнулся-таки! — цап-царап Генку, в стационар засадили и давай по тестам гонять. И цифирки ему, и квадратики-кружочки, и кляксы разные показывали. Наушники с пищалками надевали. На «роторе» крутили. Но Генка — старый черт, он эти тесты за пятнадцать лет наизусть выучил, они ему как ветер без камней. В общем, выяснили, что это он от скуки дурью маялся, выговор влепили и премию на двадцать процентов урезали. Жена про ту запись узнала, устроила Генке форменный разнос. Это он, мол, лаборантке молоденькой, Светке, в любви изъяснялся. Генка глаза выпучил: тебя, ж, говорит, дура, тоже Светкой звать. А она ему: ты, говорит, за полтора месяца про меня и вспомнить забыл, пока эта вертихвостка за стенкой сидела. А он: так за стенкой же! В сурдокамере окон нету! И наружных звуков тоже! Она же так и называется: сурдо!

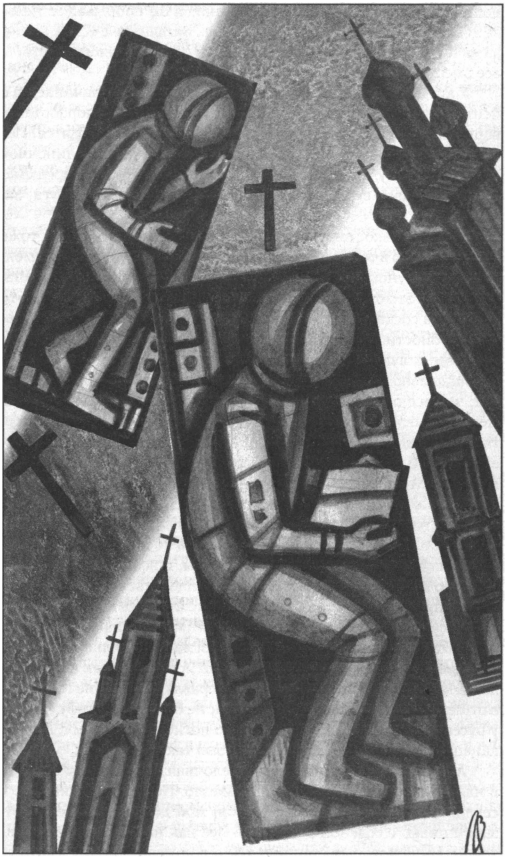
Бесполезно. Месяц не разговаривала. Вот тут я и подумал: правильно тебя, Генка, вздрючили. Потому что выказал свое нетерпение, что для наблюдателя несолидно. Спасибо, времена сейчас другие, а то бы тебя еще и за «дядю Ленина»... сами

понимаете. Хотя, случись такое со мной, я бы побрыкался: нельзя два раза за одно и то же наказывать. Загляните в КЗоТ, господа начальство! Или выговорешник, или премию долой, но чтобы все вместе — дудки.

У космонавтов, само собой, всякая тренировка начинается с центрифуги и кончается ею же. Вроде как взлетели, поработали, вернулись. А наши тренировки все к сурдокамере сводятся. Потому что перегрузку, считается, выдержать легче, чем одиночное заключение. Ну, это кому как. Во всяком случае, у нас перед сменой недельная «сурда» обязательна. Правда, и центрифуга, зараза, тоже…

Так. Сколько там пленки? Полно. С магнитофоном тоже история. Дело в том, что в одиночестве любой человек, даже молчун из молчунов, рано или поздно сам с собой болтать начинает. Раньше это считалось *признаком*. Ну, вроде в мозгах какая-то пружинка соскакивает, что сказывается на адекватности и работоспособности. Может, так оно и есть. Да только с появлением одиночных лунных станций психологам пришлось подвинуться и *официально признать* разговор сам-друг нормой. Иначе выходит, что все одиночные экипажи есть психи недоделанные. Как же можно психам станцию доверить? Вся концепция летит к чертям собачьим. Но психологи придумали, как сохранить лицо своей науки. На каждую станцию поставили «Маяк» с катушками, и наблюдатель теперь обязан с дежурства привезти не меньше трех пятисотметровок со своей болтовней, записанной на скорости четыре. Они там эту хреновину слушают с умным видом и решают, тронулся ты или же нет и можно ли тебя посылать в следующую смену. Словом, и овцы сыты, и волки целы. Это шаманство какое-то, а не наука. А-а-а, наплевать. Они никого еще по сей причине не тормознули. Потому что наблюдатели в жутком дефиците: очереди к нам не стоят. Уж очень работа муторная. Я хотел сказать, специфичная. И оклады не сильно большие. Раза в два меньше, чем у космонавтов. А орденов так и вовсе не дают. На пенсион, правда, раньше отправляют: на Луне год за три считается. И несчастных случаев у нас не было. Тьфу-тьфу. То есть у русских. Один наблюдатель только погиб за все время. Американец, Томас Гудзон. Здоровенный был такой негритос.

Ах, какая Земля красивая. Как елочная игрушечка. У меня ее в иллюминатор видно — очень повезло. Посмотришь на нее, и сердце на место становится: вот он, мой дом, и родные, и друзья, и пивко с соленой рыбочкой. Все как на ладони. Все перед тобой. На некоторых станциях окно в другую сторону смотрит,



и Землю увидишь только во время выхода. А выход случается не так уж часто.

Я слышал, что есть проект поставить большие зеркала снаружи, чтобы Землю на всех станциях в окно видно было. Благо, она всегда на одном месте висит. Это правильно, потому что добавит душевного спокойствия и уменьшит расход воздуха: наблюдатели только и ищут повода выйти, чтоб на Матушку взглянуть. И шлюзуются почем зря.

Я к чему все это говорю — потому что Томас Гудзон из-за этого и погиб. Американцы первые поставили станцию на *той* стороне. То ли из-за извечной конкуренции с нами, то ли потому что денег у них немеряно. Ведь для связи с ней пришлось специальный орбитер запускать, а это о-го-го сколько зеленых «тугриков» стоит. Томас был опытный малый, лет десять наблюдал, его туда и определили. Может, не только из-за этого. У них там такая штука есть — политкорректность. Нам не понять.

Так вот, его поставили на трое суток[3]. Это обычный срок дежурства. Надо бы, конечно, поменьше, но полет для смены экипажа опять же денег стоит. Все из-за денег, будь они неладны. Двое суток он выдержал, а потом оделся и ушел. Никому ничего не сказал, записей не оставил. Только динамик из рации выдрал и растоптал.

Я знавал Тома. Однажды мы с ним состыковались в Плимуте, на конгрессе наблюдателей. Ой, тоска зеленая. Ну, о чем там молотить? Всем же всё ясно. Наши с Гудзоном места случайно рядом оказались. Он одно слово по-русски знал: «водка». А я — одно по-английски: «beer». Так и договорились. Кто сказал, что американы пить не могут? Чистая брехня. Пошли мы с ним вечерком в кабак, тоску разогнать. Он здоровый, рослый, а я худенький-маленький. Как Тарапунька и Штепсель, ей-богу. Сидим, культурно отдыхаем, никого не трогаем. На пальцах объясняемся. Веселимся. Музон слушаем. А там, через два столика, торчала компашка матросов с какого-то юаровского корыта. Уже хорошо на взводе.

Они первые начали. Том оказался единственным чернокожим на весь кабак. И вот эти уроды присылают нам на столик связку бананов, представляете? А сами на Тома таращатся — пасти до ушей. Парень аж посерел и лицом изменился. Я сразу-то не врубился, а как дошло… Ну, думаю, апартеиды недобитые, сейчас я вам эти овощи вставлю, куда положено. Подскочил, хвать одного за тельник: ты что, говорю, дерьмо полосатое, на русских залупаешься!? А он мне — бац по харе. И очень удачно попал.

[3] Лунный день и лунная ночь длятся по 15 земных суток.

Остальной спектакль я лёжа, с пола, досматривал, причем одним глазом. Том этих расистов недорезанных раскидывал, как бройлерных цыплят. Я даже залюбовался: ну, чистый Стругацких Гуталин. Вылитый.

Тамошние полисмены жуть какие вежливые. Меня под белы ручки взяли, Тома под черны и повели в участок. Все «плиз», да «битте», да еще как-то, вроде на французском… честно говоря, не понимаю языков. Спасибо, дело было не в Москве. Там бы мигом объяснили, что к чему. Ментовский русский даже папуасы с Новой Гвинеи понимают, повторять не надо. Это вам не Миклухо-Маклай.

Штрафы нам нехилые выписали. А-а-а, чего там. Одной посуды на восемьсот фунтов наколотили. Два столика в щепы. Но мы оба только отдежурили, с «туграми» свободно было. Жаль, конечно, денег, зато удовольствие справили. От тоски и следа не осталось. Фингал, правда, у меня две недели держался. Да хрен с ним. Тем мариманам за него сторицею обломилось.

Вы что думаете, мне дома за это что-нибудь было? Абсолютно. Я, кажется, говорил, что очереди к нам не стоят.

А мистер Гудзон… Нормальный он был мужик, вот что я скажу. И очень здоровый. Ту матросню он отрихтовал беспроблемно и основательно.

Вообще наблюдатели у нас все маленькие, щупленькие. Это необходимость. Чем ты меньше, тем тебе места больше. Вот так. Но это в России. Американские станции наблюдения чуть не вдвое больше наших, потому что ребята там к комфорту привыкли. У них, говорят, даже в танках кондиционеры есть, представляете? Так что Тому там тесно не было. Клаустрофобия? Бросьте! Такой штуки у нас не бывает. Его Земля погубила. Вернее сказать, ее отсутствие. Его нашли по следам, за восемь километров от станции. Он проходил по два километра в час, если скафандр был изначально заправлен на полную катушку.

На *той* стороне Земли нет. Скажете: открыл Америку! А вот и открыл. Дело в том, что, находясь *там*, нельзя никаким способом узнать, есть вообще Земля или ее нету. Если ты, скажем, родился на *той* стороне, то можешь спокойно прожить всю жизнь и умереть, так и не узнав о существовании огромной планеты рядом с тобой. Не посетив *нашу* сторону и не увидев Землю своими глазами, будешь жить в полной уверенности, что Луна — самостоятельная планета, обращающаяся вокруг Солнца. Потому что орбита Луны вокруг него отличается от земной всего-то на полпроцента. Ой, не говорите мне про точные измерения

гравитационных возмущений и методы вычислений. Леверье и Адамсы встречаются не часто[4].

Я думаю, произошло вот что. Том Землю в иллюминатор не видел. Поскольку он десять лет работал на нашей стороне, у него в подсознании намертво засело: если Матушку в окно не видно, то ее обязательно увидишь при выходе. Думаю, шок у него и случился на первом выходе.

У них ведь там все, как у нас. Аппаратуру для лунных станций американцы в России закупают. Она лучшая в мире. Правда, для них шкалы градуируют в футах и дюймах. Ну, это я так, к слову.

Том первый раз вышел через семьдесят два часа. Разумеется, он знал, что Земли не будет, его специально готовили, ля-ля-тополя, и все такое прочее. Но я вам вот что скажу: на подсознание воздействовать невозможно. Это чисто твое, и ничье больше. И оно, это твое, переломит любые установки любых психологов. Типа инстинкта самосохранения. Как тебе ни долби, что недурно было бы геройски погибнуть, скажем, за Родину, вряд ли ты радостно нырнешь под танк в обнимку с гранатами.

Конечно, самураи. Конечно, камикадзе. Но им с пеленок вбивают, что высшее счастье — зажмуриться во славу императора. Это у них как раз в подсознанке и сидит. Что же касается наших гастеллов с матросовыми, то не хочу оскорблять ничьих чувств… Скажу так: подобные истории… нет, всё. Ни слова больше.

Так вот. Томас, как истинный профи, ЦУПу о своих впечатлениях ничего не доложил. И магнитофону не доверил. Мы так считаем: что у наблюдателя в душе творится — его личное дело, психологам даем кусок, чтобы отстали, а раскрываемся только перед Богом единым.

Том знал, что Земля есть, но после первого выхода засомневался в этом. Потому что не увидел ее. Он теперь старался реже выходить. Каждый выход убеждал его, что случилось что-то страшное и Земля исчезла. Под конец второй ночи он не вышел даже заменить кассету в большом телескопе: там пленка кончилась. Я его понимаю: он хотел себя убедить, что все это чушь собачья, что Земля на месте, и светлый образ Матушки он хотел сохранить в своей душе как можно дольше. Но глаза ему говорили об обратном. Потом уши в союз с глазами вошли, и радиообмен стал ему казаться сплошной фикцией, ведь он не видел Земли! А что не видишь, того и не существует. Об этом еще древние философы объясняли. В словах Тома, записанных в ЦУПе, стал проскальзывать сарказм и нездоровая ирония. Чувствовалось, что он никому не верит, более того, он не верил уже в само существование

[4] Существование планеты Нептун было теоретически предсказано У. Ж. Леверье и Дж. К. Адамсом.

ЦУПа. Голоса с Земли стали для него дьявольскими кознями, измывательством нечистого перед погублением его, Томаса Гудзона, бессмертной души. И даже на сеансе связи с семьей он им не поверил, ведь для него они были мертвы! Раз нет Земли — нет и людей! И семьи нет, а есть только невнятное бормотание динамика. С чего это он должен слушаться динамика? Динамик — это всего лишь маленький магнит, клочок черной бумаги и полметра медной проволоки. Почему разумный человек Томас Гудзон должен слушать эту кучку мусора? Нет никаких причин. Поэтому он выдрал динамик и растоптал его. Есть, само собой, резервная рация, но включать ее не было ни малейшего смысла: динамик в ней точно такой же…

По логике выход у Тома был один: проверить, есть ли Земля на самом деле. Утром третьего дня он заправил скафандр, оделся и потопал на нашу сторону. Безо всяких сомнений. Хотя он знал, что до нашей стороны восемьсот шестьдесят три километра. Но что значит «знал»? Он и про Землю знал, что она есть. Знал, да не верил. А истина есть то, что можно проверить. Думаете, мужик свихнулся? Комиссия что-то в этом духе и записала. Для них так проще. А я думаю, дальше было вот что: как только он вышел на грунт, сработали два специфических фактора, которые не дали ему опомниться и вернуться. Вы-то, уважаемые, на Луне не были, ни за что не догадаетесь. Я, так уж и быть, расскажу: Луна везде одинаковая, на обеих сторонах. Такие же кратеры, плавные ленивые горы и камни, покрытые пылью. Это раз. А еще — горизонт там очень близок. Раза в три ближе, чем на Земле. Поэтому возникает стойкое впечатление, что Луна очень маленькая, что ее можно до обеда вкруговую обойти.

Когда Томас шел, ему быстро открывались новые виды. Ему все время казалось, что скоро, вот за тем пригорком, появится голубой шарик Земли и все встанет на свои привычные места. Ну, не за тем, так за следующим уж наверняка. Да и места вроде знакомые. Память услужливо исказила свои картинки: смотрика, Том! Помнишь, года три назад, ты во-о-о-о-о-н об тот камень ногу ушиб. Помнишь, да? Иди, чуть-чуть осталось…

Так он и шел, пока воздух не кончился. И умер, терзаемый сомнениями, между «все нормально» и «всем кирдык». Жаль его. Классный был парень. Как он тех полосатых…

Жизнь наша такая: трое суток на дежурстве, потом три месяца дома. Врачи, конечно, помурыжат и до, и после полета, но это мелочь. Пара недель. Денег хватает, чтобы жена не работала, но сидеть дома не заставишь. Что мою, что Светку Генкину. Два

дежурства в году, если не заболеешь к старту. Вроде все нормально. Только как нам это дается, не знает никто. Даже жены.

Одиночество постепенно подтачивает душу. И, независимо от воспитания, рано или поздно тебе потребуется Бог.

Когда ты длительно одинок, без него плохо. Но когда смотришь с Луны на живой бело-голубой шарик в мертвом черном небе, то существующие *там* религии кажутся просто глупыми сказками. Возникает противоречие и душевный напряг. Я много думал по этому поводу и даже кое-что читал. Во всяком случае, пытался разобраться.

Христианство? Не успел малыш родиться, как на него вешают какой-то древний грех и примитивно опускают: «крестится раб Божий...». Мой маленький сын, этот живой комочек, уже чей-то раб? Да пошли вы... А здесь, на Луне, словосочетание «раб Божий» вызывает у меня приступы смеха. Вы о чем, ребята? Заклинило на средних веках?

Православие требует от человека гарантированно больше, чем он способен сделать и понять. Отсюда вывод: православный христианин всегда перед Богом виноват. А виноватый человек есть человек униженный и зависимый. Можно, конечно, исповедаться и быть прощенным. Но надолго ли? Первая же миниюбка, встреченная за церковной оградой, вызывает греховные мысли. Тебя, скотина, только что простили, а ты опять туда же!

Концепция триединства отца, сына и святого духа вообще не лезет ни в какие логические ворота. Нечто «три в одном». Сразу вспоминается старая хохма про квадратный трехчлен... Да и сама одиозная фигура Иисуса, с его закидонами и неуемной жаждой похвалы, не вызывает у меня особенных симпатий. А популярен он только потому, что всякая его критика строжайше запрещена *неписаными* законами. Законы эти насаждались сотни лет, огнем и мечом. После семнадцатого года их корчевали семьдесят лет, опять же огнем и мечом, и, как все гонимое, они вновь стали популярны. Долбаный русский парадокс! Ну чем наш Ярило хуже импортного Христа?!

За подобное кощунство (хоть и нет тут ничего особенного) многие с удовольствием засунули бы меня живьем в костер. Ну, раз терять нечего, я вам, мои воображаемые слушатели, вот что скажу (магнитофон? плевать я на него хотел!): Христос, когда на Голгофу шел, прекрасно знал, что ему-то настоящая смерть не грозит, папа его вытащит. Больно, конечно, спору нет, когда гвозди заколачивают, но ни червей, ни забвения не будет, и теперь он уже две тыщи лет с небес слушает, как ему по всему миру осанну

поют. И к этой славе у него пути другого, как только через гвозди, просто не было.

Я молчу про геенну огненную и райские сады. Это уж совсем для старых бабушек. Служба, опять же, идет на незнакомом языке. Плюс гулкая акустика храмов. Стоишь там, как дурак, ни слова не понимая…

Сейчас у нас пошло возрождение церквей. Я не против: заповеди очень правильные. Не убий, не укради. И культуры, надеюсь, прибавится.

Но мы потеряли бдительность: астрономию из школ УЖЕ выдавили. А богословие ввели. У Генки дочка в институте учится, так у них появилась кафедра теологии! Представляете? По коридорам альма-матеров шастают чернецы. И не путайте их с мокрецами! Сказать, куда направлен их следующий удар? На теорию происхождения человека. Если мы будем и дальше молча пускать блаженные сопли, чернецы уберут из программы сначала дарвинизм, а потом и всю биологию. А нашим детям подсунут поучительную сказку про Адама и Еву. Слушайтесь боженьку и не ешьте яблок с древа Познания! Так не станет ли тупость и покорность ценой за возрождение духовности?

И как назвать замену научных истин религиозными догмами?

Раньше говорили — МРАКОБЕСИЕ. А теперь как? Прогресс?

Недавно дома передачу смотрел. Диктор *с гордостью* говорил об увеличении числа истинно верующих. Они даже не понимают, что это позор. Куда мы катимся?

Спасибо скажу православию за его добровольность. А вот в исламе практикуется принудиловка. Попробуй-ка не соверши намаз где-нибудь в Тегеране. Тебе быстро объяснят, что ты неправ. Палками.

Я боюсь ислама. Аллаху до сих пор приносят кровавые жертвы. Пусть это всего лишь овцы, но их миллионами режут именно ради убийства, а вовсе не затем, чтобы раздать мясо бедным.

Я боюсь ислама, потому что нет ничего страшнее кровавых фанатиков, связанных круговой порукой. Нет ничего страшнее этих людей, в священной книге которых написано: «убей неверного!». И я не верю муфтиям, что толкуют эту фразу в переносном смысле. Потому что мировой терроризм на сто процентов исламский. И он не где-то там! Он уже у меня дома! Ислам несут в Россию сотни тысяч мигрантов. И когда-нибудь соберется его критическая масса. Мне страшно думать о том дне.

Нам очень повезло, что Китаем владеет спокойный и уравновешенный Будда.

Но буддизм тоже мне не подходит, по причине крайней пассивности.

Различные секты или перепевают одну и ту же песню на разные лады, или являются откровенными финансовыми пирамидами.

Постепенно я пришел к выводу, что должен создать собственную религию, научно обоснованную, лично мою, и ничью больше.

И я ее создал!

Концепция такова, если вам, уважаемые воображаемые, интересно.

Я постулирую существование бессмертной нематериальной души. Ведь ее отсутствие строго не доказано. Бессмертие души означает ее вечность, в смысле вечности нашей Вселенной. То есть погибнуть она может только вместе со всей Вселенной, в момент Большого Коллапса, если таковой состоится. И больше никак. Поэтому она не нуждается в мессиях-спасителях. Я могу допустить, что душа способна выдержать как Большой Коллапс, так и очередной Большой Взрыв, в случае периодичности этих процессов. И перепрыгнуть из одной Вселенной в другую. Но, пока мы не разберемся с проблемой скрытой массы, неизвестно, сменится ли расширение Универсума сжатием, а потому пока оставим это.

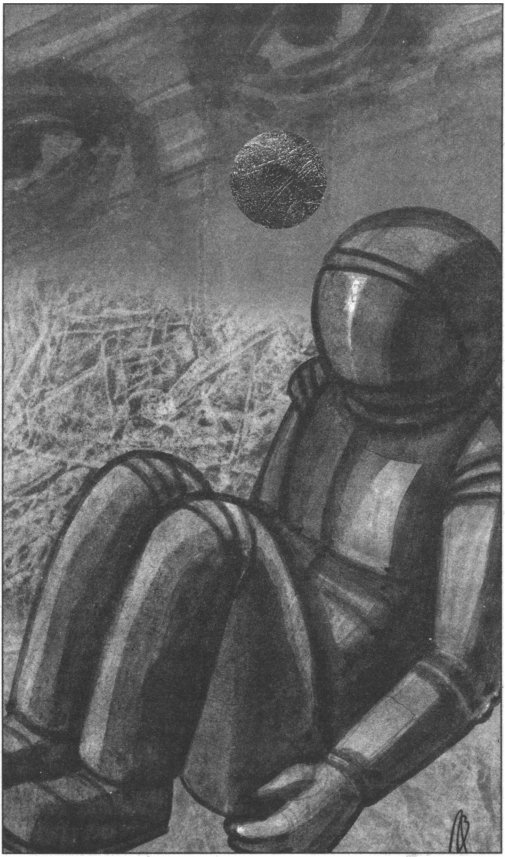
Под нематериальностью души я понимаю ее безмассовость. Это позволит мне, после смерти, передвигаться с *любой* скоростью. Я смогу вырваться из воронки светового конуса[5], сбросить цепи времени. Побывать в прошлом и будущем, посетить черные дыры, не боясь стать пленником сингулярности[6]. Побывать во множестве галактик и узнать, наконец, есть ли там кто-нибудь живой.

Я не принимаю посмертных наказаний или наград. Никаких адов и раев. Глупо наказывать старика за чашку, разбитую в детстве. Так же глупо связывать жизнь «до» с жизнью «после». Не принимаю также индусскую идею реинкарнации, потому что ее смысл сводится к наказаниям и наградам. Не хочу, подобно буддистам, погружаться в себя с целью достижения нирваны. Это вроде оргазма в одиночку, мелко и недостойно бессмертного.

Бога оставил мне Эйнштейн. Того самого, что «изощрен, но не злонамерен». Того, что создал наш мир, никогда не нарушает Им же установленные физические законы и никогда не

[5] Световой конус — гиперповерхность в пространстве Минковского, ограничивающая области прошлого и будущего относительно заданного события.

[6] Область пространства-времени, в которой кривизна пространственно-временного континуума обращается в бесконечность.



вмешивается в дальнейшие события, потому что все рассчитал заранее, в момент (или даже до) Большого Взрыва. Мой Бог всеведущ, но не всемогущ. Всемогущество нужно было Ему лишь в момент творения. Он действовал единожды, и, поскольку никогда не ошибается, то сразу сделал все, как задумал. Ему не нужно корректировать что-либо в сотворенной Им Вселенной. Он созерцатель, то есть наблюдатель, мой Старший Коллега. Оставлю ему всеведение. И буду стремиться к тому же.

Альберт Эйнштейн не сумел разгадать главный и единственный секрет Бога — создание Вселенной. Теперь пытается мистер Хокинг[7]. Пожелаем ему успеха!

Мне бы хотелось, чтобы Бог подкидывал мне иногда немного везения. Но у меня остается лишь пустая надежда — ведь Он не слышит молитв.

В моей религии не будет дьявола, потому что наука в нем не нуждается.

Нет места там и хваленому воскрешению: для сверхсущества моей души возвращение в телесный облик было бы подобно возвращению современного человека к обезьяньему состоянию.

Моя посмертная жизнь будет сведена к накоплению научных знаний. Унылые лямки будут сброшены, и я погружусь в прекрасный мир озарений и открытий.

Я еще не решил, можно ли будет однажды отдать эти знания живым. И есть ли в этом какой-то смысл для них и для меня. Думаю, обсудим этот вопрос со Старшим Коллегой, при личной встрече. Время не будет иметь для меня значения. Но, если за конечное время жизни Вселенной можно овладеть ее бесконечными тайнами, я тоже стану всеведущим. А значит, Богом.

Ладно, надо поработать. Где заявки? Ого, целая куча. И все хотят получить Большой телескоп. Он стоит слева от входа, метрах в ста. Представьте себе автобус, поставленный на попа. Технические параметры у него выше, чем были у «Хаббла»[8]. И управлять легко! Крутишь в станции штурвальчики, смотришь на шкалы. Телескоп нацеливается на нужный объект. Как только выставил координаты заявки, жми кнопку — снимок есть. Кассета с пленкой имеет сто кадров. Потом надо выходить и менять.

Дальше телескопа стоит проходческий комбайн. Он-то и пробурил в скале два туннеля: большой, для станции, и маленький,

---

[7] Стивен Уильям Хокинг — один из наиболее известных физиков-теоретиков нашего времени. Род. 8 января 1942 г. в Оксфорде, Великобритания.
[7] Орбитальный телескоп.

для радиоизотопного источника питания. Днем станция питается от солнечных панелей, а ночью — от источника. А комбайн — штука одноразовая. Такой памятник у каждого наблюдателя есть.

Приборов «на улице» много. Рассказывать про них не буду: ничего интересного. Скажу только, что техника не стоит на месте. Лет пять назад бумага для самописцев была размером с туалетную, а сейчас рулончики не больше мотка изоленты. Приборы стали маленькие. Много места освободилось. Радиолампы лишились толстых пластмассовых цоколей, стали пальчиковыми и очень надежными. Даже и не вспомню, когда я их менял. А «Маяк» так вообще на транзисторах. Фантастика!

Ну и хватит психологам на сегодня. Магнитофон — стоп.

Дальше только вам, уважаемые воображаемые. Со мной такая хрень случилась, даже не знаю, как сказать. Меня один камень достал. Тот, что лежит возле детектора ионов.

Лунное одиночество особенное. Одиночество высшего порядка. Посмотрите на Матушку! Там везде люди. Неважно, лежишь ли ты на пляже или торчишь в сурдокамере, тебя всегда окружают люди. Разница лишь в наличии стенок. Здесь ты один на тысячи безвоздушных километров. Есть, конечно, другие станции, но все наблюдатели отказались от связи между собой. Потому что помочь друг другу мы не можем, а пустая болтовня никому не нужна. Каждый тащит свое на себе. И ни у кого не возникает желание сходить в гости.

Камней тут было полно. Мы с Генкой однажды договорились: на каждом выходе относить в кучу по камешку. Постепенно площадка станет чистой. И ходить удобно, и на глаз приятно. Сказано — сделано. Потихоньку-помаленьку все очистили. Камни остались у дальних приборов — сейсмографа и детектора ионов. Там они особо не мешали, мы туда почти не ходим, и Генка их не трогал. А я решил убрать. И вдруг заметил, что один камень вращается.

Знаете, здешняя малая гравитация многое позволяет. Здоровые камни таскать. Большой телескоп маленьким моторчиком двигать. Прыгать, как тушканчик. Только вот на организм она плохо действует. Приходится таблетки-компенсаторы пить. Может, от них что-то с головой делается. Камень вращался неравномерно: чем ближе я подходил, тем медленней он вращался. Руку протянешь — замедляется. И в момент касания останавливается.

Ну, что тут скажешь? У меня в родне, как говорится, чокнутых не встречалось. Я вернулся на станцию, сел на кровать и задумался. Рядом тихо урчал регенератор воздуха. Перестать пить таблетки? Да нет, ерунда, их все наблюдатели пьют, и ничего. Ничего себе не докажешь, а костям навредишь. Для начала молчок.

Если я немного головой поехал, это мое дело. Пока работать не мешает. А если камень на самом деле вращается, то это будет громадное открытие имени моей фамилии. Как бы проверить?

Призадумался еще крепче. И вдруг мне пришла интересная мысль: на станции оборудования полно, но нет ничего для визуальной регистрации быстрых процессов. Наверное, это правильно, ведь на Луне ничего быстро не происходит. Вернее сказать, вообще ничего не происходит. Если, к примеру, пробежит собака, то заснять ее будет нечем, кинокамеры нет. Фотоаппарат, конечно, есть, очень хорошая зеркалка «Зенит-Е». И несколько катушек черно-белой «свемовской»[9] пленки. А зачем здесь цветная? На Луне всё серое. Одна только Матушка цветная, но ее снимков — горы наворочены.

В следующий выход я прихватил «Зенит», прочертил мелом на камне горизонтальную линию, которая тут же стала весело вращаться, и стал снимать. Если камень вращается, то линия на снимках будет расположена по-разному. Если нет — ой-ой-ой. Честно отсняв все тридцать шесть кадров, я вернулся, положил пленку в «земную» сумку, лег и уснул.

Все когда-нибудь кончается, даже долгое дежурство. И однажды поздним вечером из динамика рации раздался веселый Генкин голос:

— Эй, затворник! Гостей принимаешь?

— Куда от вас деваться?

— К посадке готов!

— Разрешаю!

В шлейфах пыли Генка спустился с черных небес. Мы хлопнули друг друга по плечам, пожали толстые лапы скафандров и принялись за работу. Погрузка-разгрузка — любимое занятие обитателей Луны. Тяжеленные баллоны с кислородом, ящики с харчами, канистры воды, какие-то длинные коробки были уложены в подпол станции. В багажник взлетно-посадочного модуля отнесли пустые баллоны, канистры и контейнер с сушеными какашками. Туда же поставили ящик с драгоценными пленками и лентами самописцев. Сфотографировались в обнимку. Потом Генка прошлюзовался в станцию, а я, забравшись по лесенке в модуль, сел в пилотское кресло, пристегнулся, посмотрел на зеленые точки индикаторов и глубоко вздохнул:

— К взлету готов!

Генкин голос прохрипел в наушниках:

— Ну и напердел ты здесь… взлет разрешаю.

Я улыбнулся и нажал кнопку «Старт». В задницу ощутимо толкнуло.

---

[9] «Свема» — завод по производству кино- и фотопленок, магнитных лент. Расположен в городе Шостка, Сумская область, Украина.

2. Земля

Матушка заставляет себя уважать. По прибытии отвешиваешь ей земной поклон, потом без сил бухаешься на четвереньки. Обленившиеся мышцы громко протестуют. Особо тяжко в первый день. Потом упражнения, процедуры, анализы, рентген, допросы психологов. Через неделю долгожданное: свободен! Зарплата на карточке!

И вот я дома. Дети — в интернете. Пищит мобильник:

— Привет, ты как?

— Нормально.

— Как отдежурилось?

— Нормально.

— Здоров?

— Вроде как.

— Ну, бывай, увидимся!

— Бывай.

Мама, теща и жена хлопочут на кухне, откуда доносятся божественные ароматы. Слюнки текут — хоть ведро подставляй. Вам, земным червякам, этого не понять. После трех месяцев сублимированных концентратов и водички, переработанной из твоего же ссанья…

На столе пиво и соленая астраханская воблочка. С икрой, конечно. Я не спеша потягиваю из темной бутылки и листаю каналы телевизора, выключив звук. После каждой смены надеюсь, что на ТВ появится хоть что-то для души. Для спокойного отдохновения. Но нет. Набор все тот же: мочилово — пьянка — сиськи — ужасы — перхоть — кариес — мочилово. Со вздохом нажимаю красную кнопку. Плазменная «Тошиба» послушно гаснет. Пищит мобильник. Генкина жена.

— Привет, Саш! Ты как?

— Здравствуй, Свет! Нормально.

— А на станции?

— Все пучком.

— А Генка?

— Нормально. Да ты приходи к нам. Чего по телефону…

— Через полчасика. Хорошо?

— Ждем.

С каждым глотком пива желание проявить лунную пленку усиливается.

— Мам, я пленку проявлю, пока вы возитесь.

— Да уже почти готово! А кто звонил?

— Светка. Придет через полчаса.

— Ну, тогда проявляй.

Я иду в кладовку и запираю дверь. Выключаю свет, подтыкаю в щель под дверью старое покрывало. Осторожно перекручиваю пленку в фотобачок. Развожу химикаты.

Через десять минут вытаскиваю мокрую пленку и подхожу к окну. Черная меловая линия на всех снимках горизонтальна. Чего и следовало ожидать.

Жена обнимает сзади, спрашивает:

— К папе когда пойдешь?

— Завтра.

— Батарейки не забудь.

— Ладно.

Встал чуть свет. Лучше поехать пораньше, пока народ не повалил.

Прекрасное утро, зелень и солнце. Чудесные земные запахи.

— Папа.

— Здравствуй, Саша. Тебя не было сто пятнадцать дней.

— Ты считал?

— Я считаю каждый день. Как прошло дежурство?

— Как обычно. Без нештатных. Все хорошо.

— Чем займешься в отпуске?

— Поваляюсь на диване, съезжу на рыбалку.

— А книги?

— Почитаю.

— Книги надо читать, это полезно. У меня есть список хороших книг.

— Я это все читал.

— Книги надо читать, это полезно. У меня есть список хороших книг.

— Папа…

— Книги надо читать, это полезно. У меня есть список хороших книг.

— Отец…

— Книги надо читать, это полезно… это полезно… это…

Зависло. Я поставил цветы в мраморную вазу. Поддел ногтем незаметную крышку на памятнике. Вынул небольшой, с пачку сигарет, блок. Вода, что ли, попала? На руку высыпались батарейки. Вроде бы все сухо. Дурацкая коробочка с процессором и синтезатором речи, говорящая голосом умершего. Похоронная фирма ставит ее бесплатно. Первое время помогает пережить потерю. Потом к ней привыкаешь. Приходишь на кладбище

и разговариваешь. Это стали делать недавно. Сначала казалось дико, потом привыкли. Теперь предлагают опции: разговор с покойником по телефону, а также охрану могилы, с фотографированием вандалов и автоматическим сообщением в милицию. А что, и это приживется. Нам много чего поначалу казалось дикостью: брачные контракты, частная земля, дурдом по телевизору. И ничего, привыкли.

Я достал упаковку новых батареек, вставил. Воткнул блок на место, закрыл крышку.

— Папа.

— Здравствуй, Саша. Тебя не было сто пятнадцать дней.

— Ты считал?

— Я считаю каждый день. Как прошло дежурство?

— Как обычно. Без нештатных. Все хорошо.

— Не ври отцу. А зачем камень на фото снимал?

Я оглянулся. Сзади, за могильной оградой, молча стояли люди без лиц.

— А, это вы, уважаемые воображаемые... Тоже слышали? Но вы же никому не скажете, правда? Ведь все, что творится в моей голове, — мое личное дело!

СТАНИСЛАВ БЕСКАРАВАЙНЫЙ

Мнемокогнитор

Рассказ

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis[1].

Корабль скрипел даже в полный штиль. Лонгин так основательно забыл эти звуки, что ему было трудно спать ночами. Если бы шумел камыш или по дну лодки перекатывалась рыбацкая снасть — это его бы не раздражало, с таким сопровождением он привык засыпать уже много лет. На корабле же сотни гвоздей, узлов, десятки скамеек скрипели не переставая. А вдобавок разговоры над ухом, редкие удары железом по меди, морская качка — всё это разрушало покой, мешало сосредотачиваться последние недели.

Но вот этой ночью бессонница была полезна как никогда. Капитан с явным раздражением смотрел на берег, и ему совершенно не хотелось сейчас подводить корабль к неприметным пристаням.

Ведь пассажир может оказаться совсем не тем человеком, донесёт, поставят там караул. И как потом быть?

— Может, сойдешь так? Дадим тебе челнок, до берега догребешь, там посудину оставишь. Как Сунихета прижали, там больше разбойников нет. А в посёлке наши тебя встретят, всё в лучшем виде будет.

— Я платил за провоз коня. Доплачиваю за высадку. Ты не в накладе, капитан, — сухой, даже тощий человек, лет пятидесяти, полез за кошельком. — Моё золото у тебя, серебра мало, и оно мне самому нужно. Давай, командуй.

[1] Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Капитан сомневался, как сомневается любой, кто подрабатывает контрабандой. Дешевле ведь не довезти человека.

Лонгин опустил руку на перила, ощутил дерево под пальцами, и это дерево, каждое волокно, стало открывать своё прошлое.

— Помнишь, когда достраивали эту либурну, как раз перед спуском, ты взял на руки сына и поклялся жене, что твой корабль будет самый быстрый, что ты не будешь грузить товары сверх меры и всегда вернёшься домой. Так что тебе нечего бояться, Клеон, тебя ведь никто не догонит. Если не веришь, у Дамаскина спроси.

— Ты знаешь Иону? — удивился капитан. Но потом вспомнил, что корабелов в тот день не было, и вообще, некому теперь рассказывать историю, жена и сын давно в земле. Оспа.

Пассажир нехорошо усмехнулся, как бывает, усмехаются на рынке менялы — и безоружен я, но вот где ты у меня, в кулаке. Клеон сделал «рожки» от сглаза и приказал править на косой ясень.

Ещё до полуночи Лонгин вывел на берег коня. Как он помнил, дорога должна была проходить близко от рыбачьей деревни, и он двинул туда. Рядом с моряками теперь было опасно.

Первым делом путник удивился дорожным плитам. Настоящее, добротное мощение. Теперь это была не извилистая сельская дорога, которую он помнил, — почти что тропа, — но широкий, проторенный путь. Лонгин видел, что сюда вбили много подневольного труда — засыпали овраги, подравняли ближнюю горку. Он опасался разбойников и потому взял в порту лучшего коня, был готов просто ускакать от лихих людей. Но здесь этого не требовалось. Навстречу то и дело шли обозы телег, у которых на оглоблях болтались маленькие фонарики, изредка у обочины можно было увидеть караулку.

Дорога не спала, хотя до столицы было верных три дня пути.

Лонгин поздравил себя с удачным выбором места высадки. Не стал гнать коня и ехал с таким расчетом, чтобы оказаться в Толке к утру.

Когда меньше двух месяцев назад его разыскали в камышах, он уже давно сбился с точного счета времени. Не видел человеческих лиц, кроме редких торговцев и странников, почти таких же нищих, как он сам. От них ничего толком нельзя было узнать. Всё, на чем он записывал свои мысли, — сгнивало меньше чем за год, и приходилось раз за разом обновлять тексты. Если бы не памятные камни, которые постоянно были у его постели, — сошёл бы с ума. Лонгин оброс хуже кабана, забыл, что такое терма

и приличное общество. Хорошо хоть не разучился жарить уток. И уходить в атараксию — десятую часть суток надо было провести в медитации, иначе бы раки обглодали его скелет еще столетие назад.

Чиновник — нервный, трусливый тип, наверняка последний человек в муниципалитете ближайшего городка, — стал для Лонгина избавителем. «Император впал в детство». От этой новости государство затрясло не слабее, чем от лихорадки. Лонгин хотел узнать, кто его вызвал, — однако новое имя ничего ему не сказало. Просто кто-то из наследников первой очереди. Спросил, жив ли еще кто-то из рода Маммерков. Чиновник ожидал такого вопроса и выдал ему список живущих. Лонгин ткнул пальцем в имя первого попавшегося совершеннолетнего и вроде бы еще не старого человека. Сказал, чтобы тот ждал его в Толке. Взял кошелёк с «подъёмными» и растворился в камышах.

Старый приказ «Убить мнемокогнитора, буде покажется в прямой видимости», который дали по всем окрестным городам ещё в самом начале ссылки, — не пугал Лонгина. Про приказ этот старый, поди, все уже и забыли. Кто будет высматривать среди путников человека, описание которого учил еще дед, потом отец, да оно так ни разу и не понадобилось? На дорогах и сельских тропах его ловить не будут. А путешественник, который едет в Столицу по приглашению наследника, почти наверняка не доберется до места.

Слишком много наследников накопилось за годы правления обожаемого Потита.

Утренняя Толка удивила путешественника не хуже мощеной дороги при лунном свете. Ни намёка на стену вокруг города, ничего похожего на ворота. Никакой суеты торговцев у единственного прохода в город, взяток по первому удобному поводу, даже никаких нищих. Поместья с барельефами на въездных арках, горожане в достойной одежде.

Хотя, мысленно поправил себя Лонгин, он просто слишком отвык от цивилизации. Тот паршивый портовый городок, в котором он покупал лошадь и садился на корабль, это же глухая провинция. А здесь — метрополия. Надо привыкать и к бетонным храмовым куполам, и к бронзовым дверным петлям. К обычным вещам. Любая льняная тряпка после всех этих бесконечных козьих шкур кажется ему чудом.

Однако среди всего потока новых образов Лонгин очень быстро выделил признаки культа вечников. Это были мраморные, иногда бронзовые бюсты, которые стояли в окнах,

украшали маленькие постаменты перед дверьми мастерских. «Отец всех пекарей Малх», «Отец рыбаков Ноюд», «Мать всех ткачих Ара». Это явно были не боги, не демоны и даже не герои — просто стыдно изображать представителей высших сил с такими постными и обыденными лицами. Люди. Такие же, как ушедший Император, — с той только разницей, что его вполне целые статуи в полный рост ещё красовались на каждом третьем перекрестке.

Постоялый двор он выбирал из дешевых, но и там хозяевам ушли почти все его деньги. Мезона Маммерка надо было найти меньше, чем через сутки, иначе пришлось бы добывать монету для каждодневных расходов и почти неизбежно раскрываться. С капитаном и так вышло слишком громко — тот, как дойдет до порта, не удержится и растреплет историю о странном пассажире.

Только вот отдохнуть требовалось прямо сейчас.

Лонгина разбудило Солнце — в этой развалюхе была дырявая крыша, и полуденный свет рвался в пыльную комнату. Есть не хотелось, хотя в последний раз ел больше суток назад. Организм требовал отрешенности. Он постарался прогнать из головы все мысли, стать пустотой, в которой растворяется любой звук и ничего не значит движение. И только когда пустота станет такой неощутимой, что всё внешнее станет абсолютно неважным, и весь мир может сгореть, а человек даже не пошевелится, — только тогда можно было ощутить ход времени. Тут начиналось самое трудное — оставаясь пустотой, безвольной и прозрачной, надо было приказывать времени.

Поверни. Не разрушай меня. Не изменяй.

Поверни.

Когда-то греки придумали для этого название — атараксия. Но, как всегда и бывает с заумными греческими словечками, каждый понимал его по-своему. И повернуть ход своей жизни, чтобы не стариться, а молодеть — получалось у горсточки людей. У единиц и десятков самых собранных и трудолюбивых. А толпы растяп и торопыг просто созерцали пылинки в воздухе.

Лонгин оставался пустотой свою привычную дневную норму и пришел в себя.

Мезон мог ждать его только в общественной приёмной муниципалитета. Путник критически осмотрел свою одежду, стряхнул с неё немного пыли, и решил, что и так сойдёт. Хороший конь будет пропуском.

Когда проезжал через городской рынок, купил хлеба и немного чистого пергамента. Заодно прислушался к разговорам — в

Столице вроде бы без изменений, тот человек, который вызвал его из ссылки, до сих пор числился первым лицом в государстве.

Лонгин опасался многих вещей. В первую голову — борьбы между наследниками. Убивать всех кандидатов на престол, значит залить страну кровью. Слишком уж врос Потит своими внуками-правнуками в самые богатые и сильные семьи государства. Но что не выгодно первому наследнику, обязательно выгодно десятому. Такие всегда надеются вместо тотальной войны устроить интригу — чтобы несколько случайных смертей, и свободная дорога к пустому трону. Тихо, изящно — только вот Лонгину этого не хотелось.

Опасался путник и приказа о собственной казни, который будет зачитан ему при встрече. Метод ласкового подманивания жертвы весьма изощренный и таит в себе опасность глупых ошибок, однако есть в нём свои резоны — по месту ссылки, в камышах, Лонгина можно было искать годами, да и сбежал бы он оттуда, как только бы узнал про охоту.

Наконец, реальное положение дел в империи было известно ему лишь по базарным слухам.

К муниципалитету он подошёл в обличье просителя и устроился в той очереди, которая каждодневным хвостом высовывалась из дверей.

Пустые разговоры, жалобы на гнилую воду, на спертый воздух, да на всё, что угодно. Ленивые стражники в караулах. Обычная жизнь маленького городка — в людях ничего не изменится хоть за сто двадцать, хоть за тысячу лет.

Только надо было проверить, не декорация ли это. Не устроились ли все эти люди ловить его, не воткнут ли ему дротик в спину, как только опознают в нём самого старого ссыльного в империи?

Лонгину тяжело было перебирать свежие, только отложившиеся воспоминания. Надо было пожать человеку руку (что помогало не всегда) или коснуться пальцами привычной для него вещи (это работало почти безотказно). Пришлось изображать доброго проезжего ротозея, готового выслушать все советы. Соседи в очереди были местными, в памяти держалось слишком много подробностей из жизни городка, чтобы можно было понять их всех одновременно. Что было доступным, так это их желание поговорить со столичным чиновником. Похвально.

Слуга-переписчик в приемной — Лонгин взял у него стило — дописывал очередную кляузу. Тот отлично помнил первоё своё воровство и сейчас наверняка думал об очередном. Такой

помощник слишком труслив для серьезных дел. Наконец, стражник — его игральные кости были в деле, несколько человек надеялись выиграть друг у друга какую-то мелочь. Стражник помнил, как впервые сел на коня, помнил свою первую ночь с молодой невестой, помнил даже ранение два года назад: какой-то бродяга пырнул его кинжалом. О приказах не помнил ничего. Вспомнит, когда придет время? Нет, этот слишком зажирел, обрюзг от спокойной жизни. На такого не понадеются.

Не прошло и пары часов, как Лонгин мелким гребнем прошёлся по воспоминаниям всех заметных людей — в приёмной и на площади перед муниципалитетом. Можно, конечно, было представить, что несколько отрядов прячутся в подвалах, постоянно дежурят и бросятся в дело с первым звоном гонга. Но это было бы уже излишеством, выдумыванием предлога, оправдывающего бесконечную игру в прятки.

Лонгин честно отстоял свою очередь и уже под вечер попал в кабинет Мезона.

Полноватый человек, с капризными чертами лица и тщательно завитыми волосами, сидел в окружении десятков листов пергамента, и уже в состоянии полной прострации жевал виноградину за виноградиной.

Посетители ему смертельно надоели, и чтобы прочесть эту мысль на лице чиновника, хватало обычной человеческой наблюдательности.

Лонгин собрался — сейчас надо было быстро, почти мгновенно оценить ситуацию. Одежды Мезона ему не коснуться, тем более, это бесполезно, он её почти каждый день меняет. Стол? Да, он привез его с собой, но редко им пользовался. Мнемокогнитор, подавая жалобу, коснулся стола. Не лучший вариант — в нем отпечатались лишь недавние события. Лень, тревога за родных в столице. И ничего решительного, ни следа пепельно-хрустальной крошки, которая возникает в головах от решения устранить человека.

Лонгин вдруг понял, что пол, на котором он стоит, тоже привезен из столицы. Это любимый мозаичный пол Мезона. Проклятье, теперь с собой возят даже это! Мнемокогнитор побыстрей высунул пятку из старой сандалии и коснулся одной из змей в прическе Горгоны.

Порядок. Во всяком случае, его не ужалило.

— Ты слишком любишь вареную рыбу, — Лонгин выпрямил спину, прогнал из взгляда раболепство. — Хочешь растрясти живот гимнастикой, но за обедом каждый раз съедаешь вдвое

больше положенного. А повара менять не желаешь, слишком вкусно готовит. Поменяй.

Способности Лонгина могли впечатлить любого и хорошо удостоверяли личность, но в придачу, в кабинете имелся его гипсовый бюст. Отливка по тому образцу, который высек Кротил, ещё когда в столице молодой сыщик только начинал… давно это было.

Мнемокогнитор не стал пересказывать чиновнику всё его прошлое, а просто встал рядом с копией своего лица.

— Убери с меня бороду. Представь в нормальной одежде.

— А!! — Мезон от удивления чуть не поперхнулся косточкой, подскочил, отбросил в сторону блюдо с виноградом. — Молния и судьба! Я и не верил, что ты ещё жив.

На крик вбежали караульные. Лонгин напрягся. Даже если Мезон не желает ему зла — у стражников может быть другой приказ. Но всё обошлось.

— Могу чем-то помочь?

— Цирюльника сюда. И пусть принесут поесть, — рассудительно ответил гость.

Столичный ревизор только хлопнул в ладоши.

Брился Лонгин сам — за столько лет он привык не подпускать к себе вооруженных людей. Только удивился зеркалу: раньше были бронзовые, в которые можно было разглядеть лишь неясную искривленную тень, в этом стекле он видел каждый волосок.

Получалось почти без порезов.

— Сколько вечников теперь в империи?

— Восемьсот семнадцать подтвержденных, — Мезон был готов к вопросу и вытащил припасенный пергамент со списком фамилий.

— Сколько перестали стареть и начали молодеть?

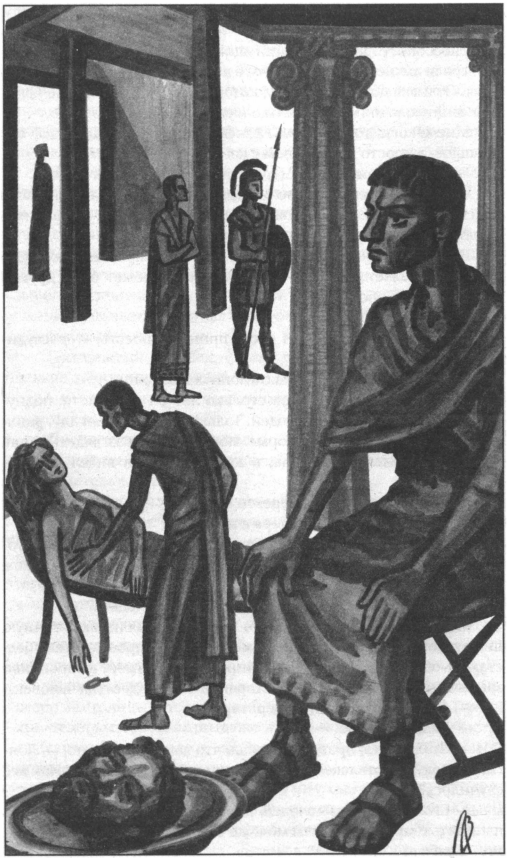
— Чуть больше двух сотен, — ревизор хотел назвать точную цифру, но Лонгин недовольно поморщился, он просто хотел представить общую ситуацию. Чиновник уловил гримасу и торопливо закончил: — На втором круге старения четыре десятка человек.

— А наш обожаемый император?

— Впал в детство.

— Стало быть, правда? Не знал, что такое возможно, — Лонгин на секунду отвлекся от собственного подбородка. — Как всё случилось?

— Его величество молодел, пора было остановиться и снова начинать стариться, но чем моложе тело, тем лучше оно справляется с работой.



— Мг. Если только захочет.

— Истинно. Он вышел на утренний прием и не узнал половину собравшихся, и не мог вспомнить поручений, которые дал за неделю до того. На следующий день стало ещё хуже. Сейчас на вид это юноша. Здоровый, умный, только он забыл почти всё. И будет забывать дальше.

— Будет? Он всё еще уходит в атараксию?

— Он забыл и это. Но процесс продолжается, и если сравнить с остальными пострадавшими…

— Значит, бывали другие случаи? — нынешняя метрополия не уставала удивлять мнемокогнитора.

— Да. Отец Милосских рыбаков… Ты его не знаешь… Словом, он тоже не смог остановиться. Стал пятилетним мальчишкой, а потом начал расти.

— Ничего не вспомнил?

— Ничего. Сейчас уже юноша, бороду бреет. Ему даже пытаются напомнить прошлое — уж больно деньги на нём большие были завязаны. Без толку.

— Надеюсь, меня не только из-за него вызвали? — Лонгин неожиданно рассмеялся.

— Нет…. Дело…

— Давай чуть позже? — он осторожно промокнул теплой тканью свежевыбритый подбородок. — Или в империи уже есть люди вроде меня?

— Что? — Мезон даже испугался такой возможности. — Нет, слава богам. Ты, Лонгин, пока единственный.

Начали вносить блюда с едой, готовить зал для ужина.

— Что-то я устал.

— В задних комнатах есть маленькие термы. Бассейны там с четверть комнаты, но всё на месте.

Пар в кальдарии снял напряжение, а горячая вода была тут же. В холодный бассейн Лонгин не полез — за столько лет проникся ко всему прохладному устойчивым отвращением. Просто сидел на скамейке у воды, и мысли медленно ворочались в голове.

Когда клепсидра синего стекла опустела, встряхнулся и прошёл обратно в приёмную.

Мезону хватило ума завернуть многих из тех, кто желал посмотреть на живого мнемокогнитора, но видно не хватило влияния обеспечить совершенно пустой зал. Четверо гостей.

Пока Мезон представлял их, Лонгин пытался угадать, что они из себя представляют.

Местный начальник стражи, у него цепкие глаза, но ума явно небогато. Держат за безвредность, однако приходится исполнять его редкие капризы. Как сегодня. Глава муниципии Квинтилиан с супругой. Тут хитрости побольше, причем у обоих. Деньги явно липнут к рукам. И человек в одежде ремесленника. Точно, так ходили ткачи полтораста лет назад. Только вместо шерсти или льна на нём был шёлк.

Для человека лет тридцати он слишком равнодушно смотрел на Лонгина. «Отец шерстобитов Габал».

Ужинать теперь было принято за низкими столиками, сидя на подушках.

Первые фразы светской болтовни совершенно не отразились в сознании мнемокогнитора — он прощупывал обстановку и блюда на предмет ядов. Это не давало гарантии, но успокаивало. Лонгин кому-то улыбался, когда понял первые слова.

— Правда ли, что вернее говорить не мнемокогнитор, а мнемокогнитатор? — прощебетала супруга градоначальника.

— Да? Мне уже такое рассказывали. Только от рассуждений мало проку. Я начинал в бедных кварталах, а там люди ленились выговаривать лишний слог. Чаще всего меня звали Мнемо. Не знаешь, как сейчас? — он повернулся к начальнику стражи.

— Клички остались, — пробурчал тот в ответ.

Потом снова провал — какая-то пустопорожняя болтовня. Он вспоминал молодость, которая здесь давно обросла легендами. В те годы вечники только превращались из невиданной чужеземной басни в реальных людей, и мир был много неустойчивей нынешнего. Молодой Лонгин оказал множество услуг государству, числился другом императора и занял место второго консула.

Слишком высоко взлетел и много на себя взял.

Мезон пытался пересказывать те истории, что передавались в роду Маммерков, от первого помощника, Заруна. Но Лонгин совершенно не отождествлял хитрого, цепкого, отчаянного сорвиголову с этим вот сдобным и ленивым чиновником.

Что ж, бывает.

— Почему нельзя было уйти из камышей? Лет через десять после начала ссылки. Или через тридцать, — шерстобит хотел поговорить с человеком, который тоже легко мог отмерять время десятилетиями.

— Куда уйти? Пока наш добрый Потит был в памяти — империя оставалась слишком тесной для нас обоих. Скрываться бы долго не получилось. Либо восстание и почти неизбежное поражение, либо сразу казнь.

Похоже, Габал услышал желаемое.

— Можно было уехать. Такой обычай принят уже давно… с консульства младшего Бибула, — градоначальнику тоже хотелось поучаствовать в разговоре. — Император многих отправляет в ссылки к варварам.

— Как далеко надо было уезжать? Мой дар слишком опасен для любого государства. Либо я с ним, либо против него. Пришлось бы служить на побегушках у местных царьков и воевать с империей. Или бежать, бежать всю жизнь без оглядки. Ойкумена слишком мала для таких скачек.

— И всего-то вам, кудесникам, не хватает… — чуть кокетливо заметила супруга градоначальника.

— Почтеннейшая… — он перегнулся через стол и, соблюдая приличия, дотронулся до янтарного браслета на её руке, — …Гемина, разве тебе так нужна вода? Четыре больших бассейна в доме и фонтан по праздникам. Куда ещё виллу перестраивать?

Гемина — было её детское прозвище, а воровство, которое даст средство для виллы, она вчера обсуждала с мужем.

Супруга градоначальника улыбнулась с таким видом, будто все эти слова ничего не значили.

— Скажи мне, Габал, ты скоро сорок лет как будешь управлять шерстобитами? — Лонгин и сам понял, что сказал слишком уж явную бестактность, и решил сменить тему.

— Не всеми.

— Прости, не знал. Но скажи мне, что-то изменилось за эти годы?

Вечник задумался.

— Стало легче заниматься другими ремеслами. Раньше недовольные убегали по дальним провинциям, теперь становятся гончарами или виноградарями.

— Вот и всё чудо — прошло столетие, и стало больше виноградарей, — театрально вздохнул Лонгин.

Мезон как бы между прочим заметил, что время позднее. Квинтилиан первым поднялся из-за стола, подал руку супруге. С ними ушёл начальник стражи. Габал уходить и не собирался.

Лонгин не хотел переедать, но блюд на столах было много, и он лениво отщипывал кусочки то от одного, то от другого кушанья.

— Насколько я нужен в столице?

— Ты там желателен. Много интриг заплелось, пресекать их придется железом, — чуть ли не продекламировал Мезон.

— Намечаются казни? Преемник желает остаться единственным и неповторимым?

— Дело не только в казнях, — шерстобит был не дурак поесть и, как ушли публичные люди, уплетал за обе щеки. — Решается вопрос о войне.

— С кем? — Лонгин постарался для разнообразия не удивляться. — Граница на востоке по Евфрату уже и закостенела, Кавказ наш, Аравия за нами. На севере дошли до вечных льдов. На юге одни пески, а что южнее песков, так все тамошние товары у дикарей за сотню мечей купить можно. Что еще потребно для государства?

— Земли пока не нужны, — согласился Габал. — Необходимы сражения и пленные.

— Надеюсь, пленять будут наши, а не наших? Или уже почти всё равно?

— Почти всё равно, — эхом отозвался Мезон.

— Весело… Новому императору мешает армия?

— Без армии он никогда бы не сел на трон.

— Вообще замечательно… — настороженным тоном протянул Лонгин. — Кстати, он вечник?

— Официально император, естественно, «вечник». — Габал произнес эти слова так, как может старый ремесленник произнести издевательский упрек родовитому богачу. С почтением и усмешкой одновременно.

— Ему только пятьдесят лет. Поворот вниз будет в ближайшие годы, — бодро отозвался Мезон.

— А вечники среди наследников второй очереди?

— Трое, — теперь Габал не смеялся. — Двое в армии. Они поддержали.

Крик во дворе. Женский, длинный вопль ужаса. Еще один, потом тишина. Мезон насторожился, а потом, еще не понимая, что случилось, разозлился — его образ гостеприимного хозяина полетел насмарку. Габал напрягся, но совершенно не испугался — видно, доверял своей охране. Новый крик с другой стороны.

Вбежал кто-то из местных писцов.

— Отрава, люди умирают, — он задыхался, и ему было так страшно, будто он сам должен был сейчас упасть замертво. — Прямо за работой.

Лонгин ощутил знакомый холодок в подушечках пальцев — ему не чудилось грядущее покушение, предчувствия не обманывали. Всё-таки попытались отравить.

— Ну, Мезон, поработаем? — он подмигнул Маммерку. — Надо бы узнать, во что тут подсыпали яд, а потом взяться за население. Прощупать.

Столичный инспектор молча кивнул.

С ядом разобрались быстро — продолжавшиеся смерти ясно указали на источник. Все погибшие пили воду из акведука. Точнее, из того ответвления, что шло к муниципальному зданию.

К тому времени уже подняли охрану, в городе оцепили, что только могли, стража ходила по улицам с криками, чтобы не пили отравленную воду.

Лонгин очень скоро нашел место — свинцовая труба на задворках конюшни. Её пробили заступом, внутрь засунули тряпку с замотанным внутри ядом, а потом забили в дыру деревянный клин, чтобы не было большой утечки и сразу не пришли искать. Порошок, который просыпался и на саму трубу, стал вымываться из ткани потоком.

Мнемокогнитор мог только поздравить себя с тем, что не полез в холодную воду. Через котлы в подвалах термы яд не успел пройти.

Надо было действовать быстро, пока заговор не стал собранием мертвецов да случайных прохожих, которых придется вылавливать по всем закоулкам империи.

В тряпке не отложилось ничего полезного. Заступ нашли поблизости — с него можно было «снять» только руки в перчатках и ощущение торопливого исполнения приказа. Остатки порошка говорили о солнечном море и каких-то медузах. Пожилой рыбак день за днем упаривал тварей, чтобы собрать крупинку мощной отравы.

Но сама труба, её ведь коснулись разбитым коленом. Человек спешил, впопыхах травил земляков и вспоминал, в эту самую секунду он вспоминал… Да!

— Мезон! У кого здесь есть кровать с лиловым балдахином!? — вдохновение пришло.

— Ну… Минимум четверо. Но я не уверен.

— Наш добрый градоначальник есть среди них?

— Да.

— Он слишком мягок для подобных шуточек… — Лонгин просчитывал варианты, но решил действовать оптом, раз есть такая возможность. — Всем, у кого есть такая кровать, усиленные караулы в дом. Распорядись немедленно.

Мезон умчался организовывать облавную охоту. Лонгин задержался у трубы на пару минут. Насколько были организаторы этого милого отравления в курсе возможностей мнемокогнитора? Возможно, его толкали на резкие действия, подставляли.

Он, разумеется, не такой человек, чтобы убивать по одному подозрению, но в суматохе все может случиться. Это ведь явно многослойная интрига, и кровать, скорее всего, стоит в другом доме. Надо послать человека, надо просто узнать…

Проклятье, Лонгину казалось, что он снова в камышах, ловит рыбу корявой самодельной сетью, есть страшно хочется, а рыба всё уходит, она верткая и сообразительная.

Мезон хороший исполнитель, но его одного мало. К мечу нужен кинжал.

Лонгин прошёл к стойлам, положил ладонь на ограду, за которой стоял его конь, Адамант. Меньше часа назад здесь собрались все подростки с конюшни. Они смотрели на коня, пересказывали друг другу сплетни и мечтали. Мечтали о…

Мнемокогнитор резко повернулся, так что солдат за его спиной еле успел отскочить. Прислуга жила в старом сарае. Все замолчали и застыли, когда он вломился туда. И трех выдохов не понадобилось Лонгину, чтобы найти того паренька. Тощий, глазастый, лопоухий, вполне себе обыкновенный. Голова варит, руки на месте.

— Ты хочешь в столицу? Свободным человеком? Отвечай быстро, Дион…

— Да! — для него это было как в сказке.

— Ты им будешь. Говори, кто из прислуги в этом доме и в вашем маленьком городке может валяться на хозяйских постелях? Называй, кого вспомнишь, — мнемокогнитор схватил глиняную кружку, из которой пил Дион, и теперь бешено перебирал его воспоминания. Подслушанные сплетни, соленые истории, сути которых до конца Дион ещё не понимал. А слова паренька позволяли не перебирать всё подряд, но вылавливать основное.

Лонгин с каждой секундой яснее чувствовал — место прелюбодеяния где-то рядом. В квартале. Нет и четверти часа ходьбы. По большому счету все обо всех всё знают, но это знание рассеяно между людьми, его просто надо собрать.

Он приказал солдату увести паренька в казарму — накормить, дать одежду получше, дать оружие. Со слугами Диона оставлять было нельзя, его бы убили.

Начинать следовало с главы муниципии. Хотя бы потому, что его следовало отпустить раньше всех остальных. Была там пара перспективных служанок, о которых Лонгин сейчас знал только запах любимых благовоний и силуэт груди, проступавшей сквозь тонкий шелк.

Конь, ночная улица, патруль, дом на площади.

С хозяевами пока бесполезно было говорить, он бросился в спальню. Покрывало осталось тем же, однако след событий ясней был виден в дереве балдахина.

Идиот!

С самого начала надо было соображать — так о прислуге не вспоминают. Воспоминание шло не от лучшего момента в жизни, не от приключения или любви — на нём, как плащ на гвозде, держался приказ. Без кувырканий вот на этом ложе Тит не решился бы отравить столько людей.

Лонгин понял, что слишком отвык от людского коварства. Любая утонченная интрига, минимальная предосторожность в мышлении — и он уже обманут. К уловкам скользких умов надо привыкать заново, видеть притворное смущение и фальшивые, продуманные напоказ мысли.

Мнемокогнитор подозвал ближайшего стражника.

— Искать невысокого, легкого в беге человека. Он служит в этом доме, зовется Титом. Скорее всего, сейчас скачет вон из города. Еще он кудрявый и разбил правое колено. Правое! — Лонгин вдруг сообразил, что стражник, он ведь знает этого Тита, во всяком случае, львиные головы на панцире видели эту физиономию.

Друг? Собутыльник?

Прежде чем рука Лонгина начала движение к мечу, мнемокогнитор сообразил, что стражник не будет вступаться за слугу из чужого дома. Кто он ему?

Полегче с погоней, можно вылететь на дорогу, сказал себе Лонгин.

Но темп нельзя терять, иначе всё начнет расползаться под руками. Супруга главы муниципии — следующая на очереди.

Это была маленькая, уютная комната. Здесь принимали самых доверенных гостей, веселились в узком кругу и думали о будущем. Подлинное сердце дома. Дневное обиталище семьи с фресками из жизни лесных богов.

В центре комнаты сегодня располагалось старое кресло на высоких ножках, больше похожее на ложе. Он лежала, очень бледная, а муж держал её за руку.

Супруга главы муниципии слишком уважала яды, чтобы уйти из жизни каким-то другим способом. И сейчас в руках у неё была пустая бутылочка зеленого стекла.

Комната стала заполняться людьми, Лонгин расслышал позади себя в коридоре торопливую ругань начальника стражи.

У супругов не было под рукой оружия или хоть чего-то опасного для жизни мнемокогнитора.

— Почему? — Лонгин двумя пальцами взялся за янтарную сережку умирающей.

— Тварь, ненавижу, — Гемина шептала чистую правду. Но из-за чего питать такое жгучее отвращение к человеку, не появлявшемуся в Метрополии больше ста лет?

Она чувствовала приход новой кровавой волны. Очистительные казни, обновление сродни проскрипциям Потита, которые он устраивал раз в тридцать лет. В её уме поселился безотчетный ужас грядущих казней. И, в придачу, война. Это значит армия. Казармы и походы. Все эти слова оказались ненавистны её сердцу. И сыновья, у неё растут три сына. Они бы пошли воевать по собственной воле, только мать не хотела этого больше всего на свете.

И вот к ним в город, практически в их дом прибывает ужас прежних времен, умытый кровью легендарный сыскарь, проклятый небом интриган. Гемина всё продумала уже несколько недель назад, нашла, чем привязать к себе Тита, запаслась новыми ядами.

Мнемокогнитор удивился сильнее всего, сильней, чем он даже мог представить сутки назад. Он только что понял — людей, подобных этой женщине, стало теперь много. Она никогда бы не решилась на убийство в одиночестве. С ней не советовались, ей не помогали, она просто уловила дух времени. Подобное совершенно не укладывалось в голове — раньше в провинциях бытовали такие настроения, но в Метрополии? Лонгин мог представить себе труса, пусть даже заботливого труса, который отрубит детям большие пальцы на руках, чтобы освободить их от службы. Но чтобы так — почти без надежды на успех совать руки в жернова империи?

Эти, новые люди, они не организованы, только вот всё равно будут пытаться устранить ужас из прошлого. Они как вода, выталкивающая из себя масло. Умирающая женщина просто оказалась самой решительной. Остальные будут лгать, подличать, проваливать любое порученное им дело. Даже Мезон, который поначалу будет только рад новой жизни, станет через несколько лет записным лентяем.

Что ж, теперь мнемокогнитор посмотрел в лицо своего главного врага.

— Его брать? — голос начальника стражи за спиной. Ах да, есть еще глава муниципии.

— Нет. Он ничего не знал. Позовите лекаря, пусть вскроет ей вены и спустит кровь, я не хочу сюрпризов с этим зельем.

Топот сандалий и несколько секунд тихих разговоров.

Лонгин понимал, что дело закончено. Если обвинять всех причастных, то лучше уж просто сжечь городок.

— Хочешь попасть в столицу? — этот униженный, уничтоженный человечек, это не растертый ещё пепел, вдруг начал задавать вопросы. — Ты ведь умрешь. И двадцати лет не протянешь. Сожрут придворные. И времени на атараксию не будет.

Мнемокогнитор увидел себя глазами чиновника: всезнающая, неуязвимая тварь, чьи когти в любую секунду могут вырвать сердце у тебя из груди, и остаётся только радоваться, что эта тварь смертна.

— Если бы она, — Лонгин показал на тело его жены, которой как раз в эту секунду резали вены на запястьях, — прожила еще лет восемьдесят, увидела смерть сыновей и сбилась со счета правнуков, то она бы меня поняла. Ты — нет. Навсегда останешься ребенком, не почувствуешь земли под ногами.

Повернулся и вышел из комнаты. Прихватил, однако, с остывающего тела серёжку — воспоминания покойницы надо тщательно перебрать на досуге, выделить симптомы ненависти.

Мезон, прочесав половину города, стал искать сопровождаемое лицо для получения новых приказов и нашел у парадного входа в дом градоначальника. Факелы вырывали из темноты кусок брусчатки, мраморные колонны. Лонгин сидел в тени, на маленькой скамье привратника, завернувшись в солдатский плащ.

Отсеченная голова Тита лежала перед ним в медном тазу.

— Ещё две лиловые постели. Итого шесть, — у столичного инспектора прорезалась отдышка. — Поставлены караулы. Но мне тут сказали, что всё закончилось?

— Да.

— Проклятье!

— Пошли патруль, пусть стража уходит из домов… Как думаешь, под этой крышей есть безопасные напитки?

Мезон, когда задумывался, начинал жевать нижнюю губу. Забавно, что эта привычка сохранилась вот уже в четвертом поколении.

— Подвал. Он хвастался коллекцией вин и благовонных масел.

— Сколько дней назад?

— Ээ… Давно, как только я приехал.

— Давно, хм… Тоже подходящее слово. Пусть притащат пару амфор, — амфора не бассейн, подумалось Лонгину, вино не вода. Можно будет распознать яд.

Снова топот и короткие команды.

— Ты думаешь, в столице всё получится? — Маммерку поставили маленький раскладной стул, и он мог дать отдых ногам. — Действительно хочешь стать его правой рукой, и не боишься, что тебя подманивают?

О, правильные вопросы приходят в голову этому Мезону.

— Если есть шанс, надо пытаться воплотить свою задумку. Иначе я бы не вышел из этих проклятых зарослей камыша, — он устало потянулся, — Сейчас выпьем по чуть-чуть, и спать.

Чтобы через три дня оказаться в Столице, надо было трогаться засветло.

ВАЛЕРИЙ БРУСКОВ

Аккуратист

Рассказ

Парень искренне волновался и даже слегка побледнел от воспоминаний, отчего разнокалиберные веснушки на простоватом лице визитёра делали его совсем рябым.

—...Понимаете, я сначала подумал, что это кто-то просто придуривается от совершенно нечего делать. Лето, долго тепло, на кладбище полным-полно ошивается всякой и разнообразной шушеры. И бомжи, и те, кто халявно прикармливается у тамошней церкви. Да и алкаши наши почему-то обожают спиваться на фоне кладбищенской природы. Я уже давно не обращаю внимания на их многочисленные лежбища и схроны — привык до изжоги. Живут люди в своё простое удовольствие и пусть себе живут, как им на данный момент нравится. И на кроссовки эти я поначалу тоже особого личного внимания почти не обратил. Ну, забыл кто-то обуться с глубокого похмелья, ушёл в родное министерство босиком... Вспомнит сам, или коллеги ему посоветуют вернуться за ними.

На следующее утро иду — кроссовки стоят там же. Значит, не вспомнил сам хозяин, и не посоветовали вспомнить опохмелившиеся сослуживцы. Или обратной дороги к родным обуткам не нашёл... Иду ещё через день — стоят! Новенькие, будто только что из фирменного магазина! Что за притча?! Забыли насовсем? Странно только, что никто не прибирает их к рукам при таком обилии народа на кладбище...

Через неделю я из лёгкого баловства взял да и запнул одну кроссовку в кусты. Наутро иду — опять они вместе! Как и было! Это уже походило на откровенный вызов! Я его принял и с удовольствием зафутболил в кусты обе... Утром следующего дня они аккуратно стоят рядышком возле той же могилы. Я таким образом несколько раз загонял их куда-нибудь подальше, и снова они собирались в любимую кучу. И я, наконец, отвязался. Взяли они меня измором. Или он...

— А вы в других местах не смотрели на предмет того же?— зачем-то спросил Силин.

— А к чему мне всё это, собственно говоря? Я иду на работу, у меня отработанный маршрут, давно просчитанный до секунд. И что мне там искать? Другую обувь или невменяемого хозяина этой? Нет, вы лучше слушайте, что было дальше!

В общем, каждое утро я прохожу мимо этих демонстративных «адидасов» и передаю горячий привет их хозяину, который так бережно относится к дорогой импортной обуви, что старается её по возможности совсем не носить. Прошла ещё примерно одна неделя, я в дружеской компании невзначай рассказал это, как анекдот, и один из моих друзей осторожно намекнул мне, что это может быть даже и вампир, поселившийся в могиле... Аккуратный такой вампир, поэтому разувается при входе в дом... Мы тогда хорошо посмеялись, а мне всё это запало в душу — не знаю, почему. Проконсультировался я у сведущих людей, и посоветовали они мне из осторожности прозондировать это место биоэнергетической рамкой. Добыл я её, спросил, как рамкой пользоваться, и пошёл...

Парень сделал паузу для того, чтобы выпить целый стакан воды из дежурного графина на столе следователя.

— Получился самый настоящий вентилятор! Рамка крутилась в моих руках так, что задул ветер, и почти до ожога нагрелись пальцы, которые её держали! Вы знаете, я не поверил и опять пошёл к признанному специалисту. Он меня обрадовал тут же тем, что это мощная биоэнергетическая аномалия и что рядом с ней лучше не находиться долго, если ещё дорожишь своим драгоценным здоровьем... И ещё он сказал, что такие вещи свойственны демоническим силам... Тогда я пошёл к вам.

— Почему к нам, а не к учёным или в ту же церковь? — опять спросил Силин.— Это было бы гораздо естественнее. Церковь ко всему этому имеет значительно большее отношение, чем милиция.

— Потому что вчера утром кроссовки были в крови... — Парень снова потянулся к графину. — Они ею были буквально залиты! Согласитесь, что обувь без хозяина, да ещё в крови, — это больше похоже на криминал, а не на природный феномен.

— А сегодня вы их видели?

— Видел, но они уже снова почти новенькие.

— Странный визит...— сказал Григорьев, мусоля в пальцах погасшую давно сигарету. — Раньше всё было так просто: убийство, грабёж, кража, мошенничество, насилие, изнасилование, наркомания, алкоголизм... А что мы имеем теперь?! Приходит вполне нормальный умом человек и на полном серьёзе начинает рассказывать о натуральных вампирах! И я должен его внимательно слушать!

— Демократия в действии,— объяснил невежественному помощнику Силин. — Сейчас каждый, если захочет, может стать коммерсантом, а, если не захочет, вампиром.

— Мне не стоило сюда приходить? — парень успокоился и слегка порозовел.

— Нет, отчего же! Большое спасибо за весьма ценную информацию. Проверить сигнал надо, тем паче, что у нас есть кое-какие материалы на кровососов, орудующих в городе. Чем чёрт не шутит, да и нынешняя наука уже не отрицает наличия всякой нечисти. Опыта вот только в этом деле у нас пока никакого. Что делают с вампирами, кто знает? — Силин вопросительно посмотрел на своих коллег.

— Я где-то слышал, они, вроде бы, воды боятся...— неуверенно сказал Григорьев. — В особенности как будто святой. И ещё, кажется, солнечного света... Про осиновый кол во что-то и серебряный крест для чего-то знаю и того хуже...

— В общем, так! — сказал Силин командным голосом. — Дуем прямым ходом на то самое кладбище! Григорьев распорядится насчёт воды простой, а Шидловский — относительно святой и санкции на эксгумацию. Я же разберусь с понятыми. Действуем!

Когда они приехали на кладбище, там уже стояла ярко-красная пожарная машина, и несгораемые люди угрюмо разматывали свои бесконечные шланги с брандспойтами.

— Перестраховщик...— проворчал Силин в адрес чрезмерно усердного Григорьева. — Мог бы начать с канистры...

Из кладбищенской церкви выпал скособочившийся Шидловский с полным ведром явно святой воды. За ним торопливо шёл заросший, как его кладбище, местный поп.

— Веди,— сказал Силин. — Пока тут ещё не началась серьёзная суматоха с последствиями.

Парень пошёл вперёд, уверенно показывая дорогу. Он свернул с широкой, ухоженной аллеи на узенькую тропку, которую, по-видимому, сам же протоптал и поддерживал в состоянии проходимости, и стал углубляться в заросли старых оградок.

Силин шёл за ним, поминутно оглядываясь на поотставших понятых и прочих. Пожарные волокли нескончаемые шланги, а Шидловский на бегу о чём-то яростно спорил с попом, который басил на всё кладбище и пытался отнять у прапорщика ведро.

Силин, мало глядевший по курсу, налетел на вдруг остановившегося парня и чуть не упал в буйную девственную крапиву.

— Пришли? — деловито спросил он и выглянул у провожатого из-за спины.

...Возле старой заброшенной могилы с полусгнившим крестом без надписи уютно покоились светлые мужские кроссовки примерно сорок пятого размера, покрытые капельками высохшей крови.

Рядом с кроссовками стояли изящные женские босоножки...

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ

История о бабочке

Рассказ

Костя с большим удивлением слушал долгий монолог о том, как он, Костя, каким-то образом (как, когда — он совершенно не понял) пробрался в машину времени и совершил три (три! — подчеркнул голос) путешествия. Голос монотонно перечислил эпохи, в которых успел побывать Костя, но Костя почти ничего не разобрал.

Первое — пятнадцатый век, столица какого-то татарского ханства со знакомым названием... *(Косте вспомнился вид на расположенный внизу город. Юрты, покрытые шкурами. Между юрт пешком и на конях двигаются люди в самой разной одежде. Все люди, кажется, с азиатским разрезом глаз, но вдруг Костя видит среди них настоящих новгородских купцов в серых рубахах и с причёской «под горшок». С одной стороны город окружает земляной вал. С другой — река, отсюда кажущаяся неширокой. Высоко в небе парят какие-то хищные птицы. Костя смотрит на них, забыв обо всём, — но они ему не нужны.)*

Второе — какое-то тысячелетие до нашей эры, археологическая культура бронзового, что ли, века... *(Утоптанный земляной пол, липкие брёвна крыши. Корова, которая склоняется к нему так близко, что он чувствует её тяжёлое дыхание. Несколько горшков разного размера, на боках которых среди зигзагов и треугольников отчётливо выделяется свастика. Окон нет, за стенами слышатся голоса, что-то говорящие на незнакомом языке. Женщина. Он протягивает руку в успокаивающем жесте*

и что-то говорит, забыв, что его не понимают. Женщина бежит прочь, выронив из рук круглый предмет, который почти беззвучно падает на пол. Развевающееся красное одеяние и мелькнувшие на солнце разноцветные бусы.)

Третье — кайнозойская эра, четвертичный, кажется, период... *(Перед глазами встаёт только снежная равнина. На самом горизонте — стадо огромных зверей.)*

«Значит, вы кое-что помните», — прогремел голос, и Костя, преодолевая головную боль, окончательно разлепил глаза. Он увидел небольшой кабинет с зашторенными окнами, уставленный четырьмя столами, примыкающими друг к другу. Перед ним сидел, уперев ладони в стол, невысокий крепкий мужчина лет пятидесяти, с зачёсанными набок чёрными волосами, в костюме и при галстуке. Поодаль, у другого стола, на котором громоздились электрочайник и стеклянные стаканы, стояла девушка, одетая более вольно — в футболку, джинсы и кроссовки.

«Где я?» — спросил Костя.

«Ещё раз здравствуйте, Константин, — сказал мужчина устало. — Меня зовут Александр Васильевич, а это — Наталья Евгеньевна».

Наталья Евгеньевна кивнула (на щеках обозначились ямочки), проведя рукой по коротким светлым волосам, и Костя неосознанно повторил её жест. (Гипнотический раппорт — вспомнил он название этого явления.) Он понимал, что если всё отрицать, то это будет выглядеть неубедительно — они и так обо всём знают. Но и соглашаться с обвинениями не хотелось — по тону мужчины Костя почувствовал, что он совершил серьёзное преступление.

«Мы не сотрудники спецслужб, — поспешила успокоить его Наталья Евгеньевна, передавая стаканы с чаем сначала Александру Васильевичу, затем — Косте. — Мы — учёные».

Александр Васильевич поставил стакан и достал из внутреннего кармана пиджака визитку. Под фамилией Александра Васильевича («...доктор ист. наук, проф., зав. лабораторией...») стояла малопонятная аббревиатура: ИПОС СО РАН. Институт проблем оптимизации событий — расшифровал Александр Васильевич. Оказывается, эти учёные занимались тем, что они сами называли оптимизацией событий, а профаны, вроде Кости, — изменением истории.

Они пробовали устранить (Александр Васильевич смущённо закашлялся...) Темуджина — до того, как он станет каганом

монгольских племён под именем Чингисхан. И что же случилось? Появился другой монгол, отца которого так же убил татарский вождь и который после получил имя Чингисхан. История при этом абсолютно не изменилась («Ни на йоту», — сказал Александр Васильевич.) Более того, сына этого другого Чингисхана звали Джучи, а внука — Бату, и он стал известен по русским летописям как Батый! Александр Васильевич признался, что после этого эксперимента был в шоке и долго не решался обнародовать его результаты в научном мире.

«Но я-то тут при чём?» — напрягся Костя, привстав.

«Сядьте, — спокойно сказал Александр Васильевич. — Не надо истерики. Вы понимаете, что вы совершили, я понимаю, что вы совершили, Наталья Евгеньевна понимает, что вы совершили. Все всё понимают».

«Я ничего не понимаю», — разозлился Костя.

«То, что вы сделали, является преступлением, Константин, — сказал Александр Васильевич. — А за преступлением, как вы понимаете, следует наказание. Конечно, статья безнадёжно устарела. Мы теперь знаем, что путешествия во времени ни на что не влияют, а у путешественника остаётся очень мало воспоминаний, однако… Дура лекс сэд лекс».

«Но разве я хотел что-то изменить?» — спросил Костя, не понимая, кого Александр Васильевич назвал дурой.

«А бабочка? — мягко спросила Наталья Евгеньевна. — Книжек начитались?»

«Какая бабочка?!» — хотел закричать Костя и тут же всё вспомнил. *(Костя хочет поскорее выполнить задуманное. Он оглядывается, но ничего подходящего не находится. В траве ползают обычные мураши, невдалеке стрекочут кузнечики, толстый шмель жужжит у цветка клевера, пролетает неуловимая стрекоза. Высоко в небе парят какие-то хищные птицы. Костя смотрит на них, забыв обо всём, — но они ему не нужны. Наконец ему удаётся поймать какую-то неприметную бабочку. Она трепещет и обсыпает его руки жёлтой пыльцой, но Костя без сожаления сминает её меж двух ладоней, вытирает их о штанины и тут же приседает от боли, пронзившей голову. Он приходит в себя только в кабинете института.)*

Костя глядел в пол, как провинившийся школьник (картина «Опять двойка!»). «Я случайно…» — пробурчал Костя и подумал, что негоже сейчас так выглядеть. Он ненароком взглянул на Наталью Евгеньевну. Она смотрела будто бы мимо. Костя схватил стакан и, обжегши пальцы, сразу поставил обратно.

«Случайно! — ворчливо повторил Александр Васильевич. — Книжек он начитался! Книжки — это хорошо. Но зачем стулья-то ломать?»

Оборвав Александра Васильевича на полуслове, прозвенел телефон. Извинившись, он поднял трубку. Он молча слушал невидимого собеседника и постепенно мрачнел. Затем он отвернулся и стал что-то тихо говорить в трубку. (Костя расслышал только странное, несколько раз повторённое слово «зах», и в самом звучании этого слова ощутил угрозу...)

Александр Васильевич закрыл трубку рукой и дал понять Наталье Евгеньевне, чтобы она вышла. Та открыла дверь и молча поманила Костю. Костя оглянулся на Александра Васильевича, но он не обращал на них никакого внимания.

Наталья Евгеньевна вела Костю длинным коридором, мимо кабинетов с одинаковыми дверями. «А куда я пойду? — спрашивал он. — Я даже не знаю, где я нахожусь». — «Вы же путешествовали только во времени», — отвечала она. Они шли по лестнице, на стенах которой висели картины. «Значит, ваш институт находится в нашем городе?!» — спрашивал он. «У нашего института такая специфика, — отвечала она, — важно не то, где он находится, а то, когда он находится. С помощью машины времени своё временно́е местоположение менять несложно. Как вы убедились». Они выходили в холл, выложенный белой кафельной плиткой, где томился охранник в пятнистой униформе. Костя думал о том, что ему никто не поверит.

* * *

Он шагал по своему родному городу, по летнему бульвару и, честно говоря, радовался, что ничего изменить нельзя.

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ

Бремя пророка

Рассказ

— Не волнуйтесь, пожалуйста, — профессор Ройфе отвернулся к окну, чтобы не смущать клиентку. За несколько минут разговора он успел изучить ее достаточно, чтобы прийти к определенным выводам: Надежда Резанова хорошо запоминает детали и достаточно точно описывает не только увиденное, но и собственные впечатления, это редко кому удается. — Начните еще раз с того момента, когда вы вошли в квартиру Дегтярева. Вы договорились с ним о том, что придете, или он вас не ждал?

— Максим не мог меня ждать, — Резанова говорила медленно, подбирая слова, а может, произносила все предложение сначала в уме, пробуя его на точность или правдивость, или оценивая еще по каким-то критериям, которые профессора сейчас не интересовали, а потому он и не старался вслушиваться еще и в эти нюансы. — Мы с ним расстались за полгода до…

— Расстались, говорите? — Ройфе разглядывал сидевших за окном на карнизе толстых голубей, наглых до такой степени, что, склевав высыпанные Аришей утром крошки, они и не думали улетать, а толкались на маленьком пятачке, ожидая новой подачки. — То есть причиной могло стать стрессовое состояние, связанное с…

— Вряд ли, — покачала головой Резанова, и профессор увидел ее движение в зеркале, висевшем в простенке между окнами. — Я уже рассказывала об этом… ну…

— Моим коллегам, которые вели больного, — закончил Ройфе фразу. — Да, я знаю. Я читал историю болезни. Меня интересуют ваши личные впечатления. Рассказывайте, пожалуйста.

— Простите, профессор, — пробормотала посетительница. — Мне трудно говорить, если я не вижу… не смотрю в глаза…

Ройфе повернулся в кресле и улыбнулся:

— Это вы меня простите… Рассказывайте, Надежда Сергеевна. Вы расстались с Дегтяревым, но полагаете, что ваш разрыв не мог стать причиной, повлекшей за собой то, что мои коллеги диагностировали как диссоциативную фугу. Почему вы думаете, что…

— Потому, — прервала Резанова, — что мы по обоюдному… Ну, просто бывает, что заканчивается… начинаешь тяготиться… не только я, Макс тоже…

— Вы ссорились?

— В общем, нет. Поговорили и решили…

— Оба?

— Я сказала, что не вижу в наших отношениях перспективы.

— Он не собирался на вас жениться?

— Я не собиралась за него замуж.

— А он вам предлагал?

— Профессор, — взмолилась посетительница, сцепив пальцы и сложив ладони на коленях, — какое это имеет значение?

— Мои коллеги, — кашлянул Ройфе, — поставили Дегтяреву диагноз: диссоциативная фуга. Полная амнезия, он забыл все, что с ним происходило до того злополучного утра. Остались только инстинкты, рефлексы — ничего больше. Вам наверняка объясняли, но я повторю… диссоциативная фуга отмечается обычно у людей, переживших сильный стресс, психологический шок. В этом случае память вытесняется на какое-то время, но несколько месяцев или недель спустя, когда психика приходит в норму, память восстанавливается практически полностью. Случай с вашим другом отличается, вы согласны?

— Да…

— Первое: при диссоциативной фуге больной теряет память о собственной личности, но обычно не забывает приобретенные профессиональные навыки. Не забывает язык. Дегтярев же не помнил абсолютно ничего… Но давайте не отвлекаться. Если вы расстались задолго до происшествия, то как оказались в квартире Дегтярева в то утро?

— Мне позвонила Ирина Борисовна… это соседка Макса, ее квартира рядом на лестничной площадке, Ира на пенсии, и Макс

ей платит, чтобы она по утрам прибиралась в его квартире, ему самому… ну, не до того… По утрам Макс обычно работает, а в институт ездит… ездил после обеда. И оставляет… оставлял дверь незапертой, чтобы Ирина Борисовна могла войти и прибраться. В кабинет она никогда не входила и Максу работать не мешала. Убирала на кухне и в гостиной. Иногда, если Макс заранее просил, готовила ему что-нибудь поесть и уходила. Раньше это делала я… неважно.

— Понятно. В то утро соседка, как обычно, вошла к Дегтяреву…

— Да. Макс к этому времени успевал позавтракать и работал в кабинете. А тут она увидела, что он стоит посреди кухни, на полу валяются осколки чашки… взгляд у Макса был… в общем, она перепугалась и позвонила мне.

— Почему вам? Почему не в «скорую»? Вы же расстались с Дегтяревым за полгода до…

— Ирина Борисовна об этом не знала. Ей было известно, что мы встречаемся, какое-то время она меня не видела, но ей и в голову не пришло… В общем, она позвонила, я уже ехала на работу, но, конечно… Перепугалась страшно. Минут через двадцать я была на Ожегова.

— С этого момента, пожалуйста, все очень подробно.

— Постараюсь. Ира встретила меня на лестничной площадке, в квартире было тихо… Мы вошли вместе, я впереди, Ира за мной. В кухне Макса не оказалось, на полу действительно лежала разбитая чашка, но больше ничего такого… все на своих местах. В прихожей тоже — только две пары туфель были вынуты из ящика и лежали посреди прохода. В гостиной… телевизор включен, но без звука, Макс так обычно делал по утрам, смотрел новости, но не слушал, картинка ему не мешала, а звук раздражал. Мы… я увидела Макса у двери в ванную, он сидел на корточках… знаете, так обычно сидят турки… И запах… Извините.

— Да, представляю. Что сделал Дегтярев, увидев вас?

— Ничего. Я сказала: «Макс, что случилось?», а он не ответил, только посмотрел на меня, и мне стало страшно. Это был взгляд… пустой, если вы понимаете, что я хочу сказать.

— Продолжайте.

— Я не помню, ну вот совсем не помню, что было потом, пришла в себя, когда приехала «скорая», там была такая милая женщина, она быстро разобралась, что помощь нужна психиатрическая, и вызвала… расспросила меня обо всем, а потом появился мужчина: доктор Леваев, из Бехтеревки…

— Так, — с удовлетворением произнес Ройфе, — меня, собственно, интересовало состояние квартиры, в эпикризе об этом ничего не сказано. Судя по вашим словам, Дегтярев ничего не крушил, предметами не бросался…

— Ну что вы! Только чашка разбитая… Он не успел позавтракать. Видимо, все случилось внезапно.

— Почему вы так решили?

— Макс обычно пьет утром кофе или чай. С тостами. Когда мы с Ирой вошли… я же сказала: чашка лежала на полу разбитая. Видимо, Макс смахнул ее рукой… Чашка была пустая, на полу сухо, понимаете? Он еще не наливал себе. И тосты… Тостер стоял с откинутой крышкой, но не включен, а два ломтика хлеба с сыром лежали на тарелке рядом. И еще там стояли открытая банка с кофе и коробочка с чайными пакетиками, тоже открытая. Такое впечатление, будто он все приготовил для тостов, собирался, как обычно, налить себе сначала чаю или кофе, он всегда решал в последний момент, а потом положить хлеб в тостер… и в это время… не знаю… только при чем здесь стресс? Он стоял, думал и вдруг все забыл. Все. Совсем все!

— Пожалуйста, — Ройфе наклонился вперед и коснулся сухой ладонью Надиного колена. Прикосновение было легким, но в то же время уверенным и успокаивающим, подступившие слезы Надя сдержала, ей вдруг захотелось прижаться к этому человеку, которого ей порекомендовали, как лучшего психиатра то ли города, то ли страны, то ли мира. Правда, предупредили, что Ройфе давно на пенсии, принимает очень редко и только, если случай интересен для него лично, а то, что случилось с Максом, конечно, должно его заинтересовать, и действительно заинтересовало, профессор согласился, но сначала почему-то захотел поговорить с ней, а не с Максом, это показалось Наде странным, но ведь она не специалист, профессору виднее…

— Ну вот, — с удовлетворением произнес Ройфе. — Вы правы, неожиданный стресс вряд ли имел место. Разве что Дегтярев стоял на кухне, готовил завтрак, и вдруг ему явилось… гм… привидение. Или НЛО. Что-то такое…

— Вы не знаете Макса, — не согласилась Надя. — Если бы он увидел привидение, то стал бы его внимательно изучать, попробовал бы с ним говорить…

— Понимаю, — закивал Ройфе, и на его лысине заплясал солнечный зайчик, выглядело это смешно, и Надя невольно улыбнулась, профессор улыбнулся тоже, и между ними возникло поле притяжения, которого не было еще секунду назад, разговор сразу

стал иным, будто что-то переключилось в сознании, и теперь можно было говорить то, что только что говорить Надя не стала бы, хотя и понимала, что психиатру нужно рассказывать все и без утайки.

— Понимаю, — повторил профессор. — Макс — научный работник, особый склад сознания. Необычное для него — причина не для испуга (аж до потери памяти), а для исследований. Я изучил анамнез. Ни один случай известных амнезий не подходит. Диссоциативная фуга… Гм. Я не хочу сказать, что в истории медицины не было ничего подобного. Случай с Астрид Бергман из Линчепинга, тысяча восемьсот тридцать седьмой год. Девушке было девятнадцать, полная и неожиданная потеря памяти накануне свадьбы, описано в шведском медицинском журнале… не помню дату, но в том же году, да. Другой известный мне случай произошел с Джексоном Сарджентом, шестидесяти семи лет, судьей из Кранберри, Соединенные Штаты, это было… да, в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом, не так давно, описано в местном «Медицинском листке»…

— Меня уверяли, что подобных случаев вообще не было, — взволнованно произнесла Надя.

— О, — профессор вяло повел рукой, — я не хочу сказать ничего дурного, но сейчас мало кто копается в старых журналах… существует Интернет, а в Интернете есть все… так думают.

— Но «Медицинский листок» какого-то Корнберри…

— Кранберри. Я занимаюсь проблемами памяти больше полувека, — вздохнул Ройфе, — одно время я… неважно. Хочу сказать, милая, что у вас не должно быть претензий к врачам, лечившим вашего друга. Все было сделано правильно: лекарственные препараты верно совмещались с психологическими практиками и гипнозом, что позволило Максиму быстро набрать необходимый для существования в человеческом общежитии запас впечатлений, опыта и знаний. Вы постоянно были с ним?

— Да. Мне разрешили… Нужно было учить его, как новорожденного.

— Он быстро обучался, верно?

— Очень! Невероятно быстро.

— Конечно, — закивал Ройфе. — Пустая память, как пустой сосуд — его легко заполнить. Так, во всяком случае, полагают мои коллеги.

— А вы — нет?

— Милая, я старик и, по идее, должен быть консерватором, а теория памяти, как сосуда в мозгу, это самая консервативная

теория из существующих. На мой же взгляд... впрочем, о теориях можно поговорить потом. Вы не для этого приехали ко мне, верно?

— Нет...

— Сейчас с Максимом все в порядке? У него прекрасная память?

— Уникальная. Гораздо лучше, чем была. Правда, он так и не вспомнил ничего из своей прежней жизни. Мне говорили, что при фуге память обычно возвращается через какое-то время... несколько месяцев...

— У вашего друга не было фуги, — мягко сказал Ройфе. — Забудьте об этом. По-моему, вы уже смирились с тем, что память о прошлом к нему не вернется.

— Это так?

— Вы об этом хотели спросить у меня?

Надя промолчала, и профессор грустно подумал о том, что слишком часто ему приходится играть роль последней врачебной инстанции, его почему-то считают верховным судьей в психиатрии, а он вовсе не стремился заполучить эту должность. Он стар. По утрам у него кружится голова, и ноги отказываются ходить. Но это неважно. Главное — он просто устал. От всего — и от таких визитов, когда приходится говорить «да» или «нет», хотя сам не уверен, но от него ждут определенного ответа, как от Оракула, провозвестника судьбы. Почему он должен решать чью-то судьбу? «Да потому, — сказал он себе, глядя в огромные, заполненные темной тоской глаза женщины, — что ты это действительно можешь. В отличие от...»

— Память не вернется, — сказал Ройфе спокойно, будто сообщал посетительнице о том, что завтрашний день будет таким же жарким, как сегодняшний. — Память не вернулась ни к Сарджeнту, ни к Бергман. Оба прожили долгие жизни, Сарджент, кстати, скончался в прошлом году, ему было восемьдесят девять, и до самой смерти у него была отличная память, он помнил мельчайшие детали всего, что произошло с ним после... и ничего до. Об этом не писали в медицинских журналах, почему-то никто не интересовался судьбой Сарджента после того, как он вышел из клиники. Я переписывался одно время с его внучатой племянницей, она-то и писала о том, какая замечательная память стала у ее деда. Информацию о Бергман получить было труднее, но не безнадежно, как видите. В архиве мэрии Линчепинга... Да, так я хочу сказать... Впрочем, я уже сказал, а вы слышали.

— Ну и слава Богу! — неожиданно воскликнула Надя и наклонилась вперед, профессору показалось, что женщина хочет поцеловать ему руки, он отдернул пальцы, кресло немного сдвинулось назад, и Надя, поняв это движение по-своему, сказала: — Простите, я… Вы не понимаете, какой камень сняли с моей души!

— Вот как? — удивился Ройфе. — Я думал, вы хотели бы, чтобы память у вашего друга восстановилась, разве не так?

— Нет! — Надя встала, поискала глазами сумочку. — Нет, — повторила она. — Сейчас Максу хорошо, и я бы не хотела…

Сумочка лежала на журнальном столике, Надя достала конверт и положила рядом: вот, мол, я не хочу давать вам в руки, это как-то… но когда уйду, возьмите, хорошо? Это ваш гонорар.

— Сядьте, милая, — произнес Ройфе вроде бы нейтральным голосом. Он не смотрел на Надю, его внимание опять привлекли голуби за окном, они нарушили временное перемирие и начали шумную возню, кто-то оказался лишним, и его упорно, галдя, сталкивали с карниза, пока бедняге не надоело драться, он тяжело взмахнул крыльями и улетел, а остальные сразу потеряли друг к другу интерес.

— Сядьте, — повторил Ройфе, и Надя села, потому что так было нужно. Она узнала все, что хотела, оставаться было ни к чему, голос профессора не просил, не настаивал, не угрожал. Профессор всего лишь сказал «сядьте», и теперь никакое иное движение было невозможно.

— Любовь, — сказал Ройфе ровным голосом, — зарождается у человека на уровне инстинкта. Это не доказано, это даже не научная гипотеза, но я знаю, что это так. Есть вещи, не относящиеся к научному знанию, вещи интуитивные, подсознательные. Вам, как женщине, должно быть понятно, потому что…

Он неожиданно замолчал и только теперь посмотрел Наде в глаза — впервые за все время разговора. У Ройфе были голубые глаза, как небо в полдень, и глубокие, как та бездна, куда Надя упала, увидев сидевшего на корточках Макса, дрожавшего, ничего не понимавшего, он даже ее не узнал тогда, не узнал и потом, ей пришлось рассказывать ему, какие между ними были отношения, и она…

— Я не сказала Максу всего, — неожиданно для себя произнесла Надя. — Не хотела… Пока не хотела.

— Интуиция, — пробормотал Ройфе. — Вам трудно говорить со мной об этом, но вы ради этого пришли, верно? Ради одного вопроса, а не для того, чтобы выяснить, как я отношусь к курсу

лечения, проведенному моими коллегами. Если бы вы сомневались в их компетентности, то пришли бы ко мне гораздо раньше, а не сейчас, когда вам сказали: «Максим здоров». Вы пришли, чтобы спросить: может ли к Максу вернуться память, вспомнит ли он о том, что любил вас, а вы любили его, и о том, что вы его предали. Не смотрите на меня так, милая, вы сами себе говорили, что это предательство.

— Откуда вы…

— Поживите с мое, — усмехнулся Ройфе. — Это не психиатрия, всего лишь жизненный опыт. Вам говорили, что у Макса сохранились только инстинкты, и вы подумали, что могла сохраниться любовь. Инстинктивное влечение, которого он не понимает разумом, но если вы опять скажете ему: «Я ухожу»…

— Я боялась, что это может повториться.

— Расскажите мне, — произнес Ройфе, и Наде ничего не оставалось, как рассказать. Сейчас это оказалось просто.

— Мы любили друг друга, — теперь ей не нужно было подбирать слова, чтобы выразить мысль, напротив, приходилось себя сдерживать, чтобы слова не выплескивались прежде своей очереди быть произнесенными. — Господи, это было такое счастье, со мной впервые, а у Макса когда-то была девушка, но все было не так, как со мной, мы дышали друг другом, если вы понимаете, что я хочу сказать, мы не могли минуты провести… даже не в разлуке, а просто в соседней комнате, сразу возникала такая сила… И мы не говорили о браке, почему-то тогда ни разу об этом не разговаривали, наверно, нам было слишком хорошо, а о браке начинаешь думать, когда… ну, в общем, когда думаешь разумом, а не чувствуешь душой… Макс занимался своими теориями, он был очень успешным ученым, я ничего в его теориях не понимала, но вы не представляете, как гордилась, когда он читал лекцию, старые профессора, академики задавали ему вопросы, и он отвечал так легко… Я журналистка по профессии, я не сказала? Да, тогда я работала на радио и часто сама брала у Макса интервью, потом это очень пригодилось, когда он… когда мы стали работать над его памятью, прослушивали эти записи, и почему-то именно они действовали будто магически, я никогда прежде не видела, чтобы человек запоминал с первого раза такие сложные… ну, вы это знаете, это есть в истории болезни, но, по-моему, это не болезнь была, нет такой болезни, вы сами сказали. Но я не о том. Понимаете… Мне трудно подойти к этому, но я должна… Мы с Максом были как одно целое… Простите, я уже говорила. Да. Года три назад это случилось. Меня послал редактор делать

материал о дайверах, это люди, которые погружаются... вы знаете, я не буду... Я полетела на Сахалин, там у них была база, они собирали экспедицию... Макс оставался в Москве, он преподавал, было время сессии, и еще готовил доклад, он тогда занимался инфляционной теорией Большого взрыва, я и сейчас помню, могу даже рассказать, что это за теория... в общем, он остался, а я... И в тот же вечер на базе... нет, это было на следующий день, я ведь летела с посадкой через Иркутск... да, на следующий день... неважно... меня встречал Юра... Юрий Марусин, он у дайверов был лидером, и мы... я не знаю, как это получилось, не могу объяснить, такие вещи никто никогда объяснить не может, но получилось так, что мы с Юрой, как только увидели друг друга... это ужасно, наверно, но я за весь тот день ни разу не вспомнила о Максе... Вы спросите: как это возможно, вчера еще я его любила до самозабвения, а сегодня увидела другого, так не бывает, я сама была уверена, что это невозможно... не смотрите на меня, я сама себя не могу понять...

— Не нужно так, — мягко проговорил Ройфе, придвинулся в кресле к Наде и положил свою сухую жилистую ладонь ей на колено. — То, о чем вы рассказываете, обычное дело, поверьте. Ваша связь с Дегтяревым... это страсть, да, сильнейшая влюбленность, обычно это продолжается несколько месяцев, а потом вдруг... особенно если появляется другой... Продолжайте, милая. Вы встретили...

— Юру.

— Да, и ваша жизнь изменилась. Вы сделали интервью и вернулись...

— Нет, я осталась с ними. В погружение меня не взяли, конечно, я ждала и с ума сходила, не по Максу, с которым ничего в Москве случиться не могло, а по Юре, потому что он мог... но все закончилось благополучно, и мы... В общем, я осталась на Сахалине под предлогом, что буду делать большой материал. Вернулась в Москву с экспедицией два месяца спустя, материал сделала, конечно, и в тот же вечер сказала Максу, что... в общем, мы поговорили и решили расстаться... ну, как это говорят — цивилизованно. Он все понял.

— Это был для него стресс, если не сказать больше?

— О чем вы говорите? Мы расстались за полгода до... Полгода! Мы не виделись все это время, так захотел Макс, но все улеглось, по телефону мы время от времени общались, он был спокоен, мне даже показалось, что у него появилась другая женщина, он не говорил, но я чувствовала... правда, потом выяснилось, что

это не так, он с головой ушел в работу, и больше ему ничего не нужно было. Нет, я уверена: в то утро он никакого стресса не испытывал. Я же описала вам, как все... Обычное утро.

— Я помню, не волнуйтесь. Я так понимаю, что, когда Дегтярев неожиданно лишился памяти, вы сочли своим долгом...

— Никто не знал его лучше, чем я. А он был даже не как ребенок... Я поговорила с Юрой, он все понял и сам мне предложил — вернуться и помочь. «Кто, если не ты?» — сказал он. Мы, конечно, все обговорили: Максу не нужно было знать о нас с Юрой — зачем? Я переехала к Максу... сначала в больницу, там он провел три месяца, а потом его выписали, лекарства только тормозили процесс реабилитации, память у него... он ничего не вспомнил из своего прошлого, но информацию о настоящем схватывал так, что она запоминалась железно. Вы не представляете, какая сейчас у Макса память! Он за полгода выучил язык... он же и говорить не мог, когда... да, язык, и писать научился, считать, да что я... это все цветочки, он за год осилил школьную программу и университетский курс! Наверно, это тоже было на уровне инстинкта, в генах запрограммировано или еще где, но Макс опять стал космологом, только не в той области, что прежде. Он выучил, конечно, собственные теории инфляции, которыми занимался до... Но это его уже не интересовало, он почему-то занялся многомировой интерпретацией, это такая область квантовой механики, не знаю, как вам объяснить...

— Не нужно мне объяснять, милая, — улыбнулся Ройфе, — я знаю, что это такое. Вы будете удивлены, но многомировая интерпретация, или эвереттика, мне лично больше нравится второй термин, он человечнее... да, с помощью многомировых моделей сейчас некоторые мои коллеги объясняют такие болезни, как шизофрения и расстройство множественной личности... Вы не знаете работ Никонова? Нет, конечно.

— Вы думаете, что Макс заинтересовался этим, потому что...

— Из-за своего психиатрического диагноза? Не знаю, милая. Может быть. Скажу точно, когда поговорю с Максимом. Очень интересный случай, хорошо, что вы пришли ко мне. Коллеги утверждают, что ваш друг здоров, но я вижу тут...

— Что?

— Продолжайте, пожалуйста. Итак, вам сказали, что память у Максима прекрасная, что в социальном отношении он адаптировался полностью, психологический костыль ему больше не нужен, он человек вполне самодостаточный, да вы и сами это

видели по его поведению и исследованиям. И сочли свою миссию выполненной. Да? Юрий… он вас торопил?

— Нет, — Надя произнесла это слишком резко, и Ройфе едва заметно усмехнулся, вызвав еще более резкую реакцию. — Нет! Не только не торопил, но каждый день… каждый раз, когда я приезжала домой… Юра говорил: «Оставайся у Макса сколько нужно, только тебе решать»… Но я… Мне все труднее давалась жизнь на два дома. Я больше не могу, профессор. Я не спрашиваю вашего совета, что мне делать. Я знаю — что. Я в любом случае вернусь домой. Иначе не выдержу и сама окажусь в психушке. Но… Конечно, я буду говорить с Максом. Я постараюсь быть… в общем, постараюсь.

— Он вас любит? Я имею в виду — новый Макс? Инстинкт любви, вы сказали…

— Я… не знаю. Мне кажется… или хочется думать, что это все та же романтическая влюбленность. Он не вспомнил наших отношений, конечно, но ощущение… Не думаю, что это любовь.

— Надеетесь, что не любовь, — так точнее?

— Да…

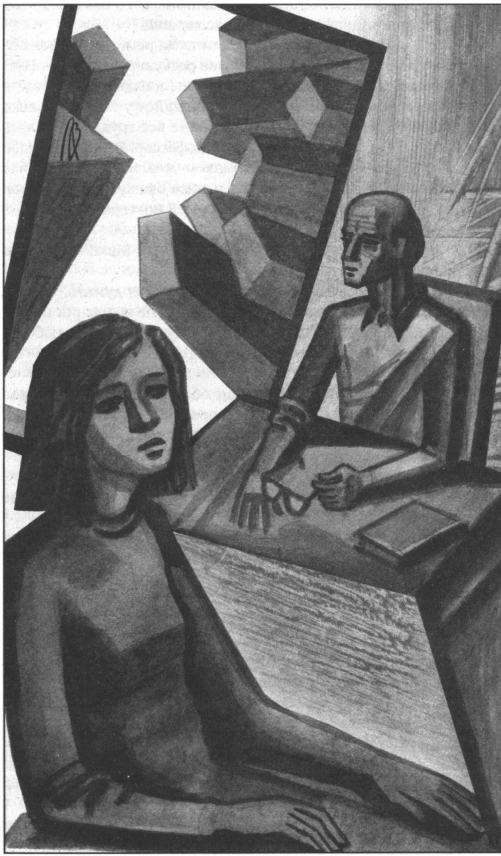
— Но все-таки боитесь, что ваше объяснение… ваше второе предательство, скажем так, вы это слово произносите мысленно, не отрицайте… оно может вызвать стресс, который приведет к вторичной потере памяти. Так?

Надя долго молчала, разглядывая кончики своих пальцев.

— Так, — сказала она. — Если это случится второй раз, я не переживу.

Ройфе встал. Поднимался он тяжело, будто был привязан к креслу невидимыми веревками, эластичными, натянувшимися, когда профессор привстал, и швырнувшими его обратно, на сидение. Ройфе тяжко вздохнул и второй раз поднялся так резко, что невидимые эластичные веревки, видимо, не выдержали и разорвались, и профессора бросило вперед, как из пращи, он пробежал мелкими шагами полкомнаты и остановился, ухватившись рукой за высокий торшер, стоявший у журнального столика. Надя тоже встала, она не знала, что делать, ей было немного смешно, Ройфе выглядел, как резиновый мячик, брошенный неловкой рукой ребенка, но и страшновато ей было тоже, потому что показалось, будто сейчас профессор упадет и непременно что-нибудь себе сломает, старческие кости хрупкие, нельзя же так…

— Сидите, сидите, — замахал рукой Ройфе. — Сядьте, милая, и послушайте.



Надя опустилась в кресло, и ей почему-то показалось сейчас, что кресло засосало ее, как трясина: вот погрузилась спина, вот плечи, сейчас исчезнут руки, если она немедленно не вытянет их или не поднимет над головой… так она и сделала, вызвав недоуменную реакцию Ройфе.

— Вам неудобно? — спросил он. — Хотите — пересядьте на стул.

— Ничего, спасибо, — пробормотала Надя: вроде бы отпустило, кресло не пожелало ее всасывать и теперь нежно удерживало на поверхности, удобно подставив бока.

Профессор оставил в покое торшер и вернулся к Наде, встал перед ней, стараясь держаться прямо, но получалось у него плохо, совсем старик, подумала она, сколько ему на самом деле, я слышала, что под восемьдесят, но, похоже, больше, не надо было приходить, может, когда-то он действительно был лучшим в мире, но сейчас, кажется, это время миновало…

— Вот что я вам скажу, милая, — продолжал Ройфе грустным голосом. — Я внимательно изучил не только анамнез и файлы профессора Савериной. Когда пришел к определенным выводам, то прочитал и публикации Дегтярева, не только последние, но и предыдущие, до того дня, когда он потерял память. Понимаете, милая… Не люблю такие вещи говорить, но в данном случае и не сказать нельзя, поскольку вам и Максиму нужно принимать решение, и вы должны иметь полную информацию. У Максима никогда не было никаких психических отклонений. Он здоров. Медикаментозное лечение, которому его подвергали… не скажу, что это нанесло вред… сейчас есть очень щадящие препараты из группы нейролептиков… но и пользы не принесло никакой. Во всяком случае, в восстановительной динамике памяти лекарственные препараты никакой роли не сыграли. И потому на будущее… Надеюсь, не понадобится, но имейте в виду: все лекарства, которые ему пропишут мои коллеги, спускайте в унитаз. Понимаете?

Надя кивнула. Она хотела сказать, что решать это придется теперь самому Максу, потому что она…

— Впрочем, — сказал Ройфе, — решать это придется теперь уже не вам, а самому Максиму. Далее. Насколько хорошо вы изучили его последние статьи?

Надя нахмурилась. Какое это имело значение? Она вообще не читала ничего из того, что публиковал Макс в научных журналах. Что она понимала в квантовой космологии? Она могла говорить с Максом о житейских проблемах, могла быть его поводырем в

этой жизни, которую он еще два года назад не понимал вовсе, но каждый день впитывал, воспринимал, усваивал такое количество информации, какое ей не усвоить и за год. Что она могла понять в вереницах формул, из которых состояли его статьи?

— Нет, — выдавила она. Макс пытался ей рассказывать, но до сознания это не доходило, сначала она пыталась слушать, потом уже и не пыталась и только делала вид, а в последние дни даже и вида не делала: он рассказывал, а она занималась своими делами и думала о том, что все, пора, хватит, он уже здоров, и нужно сказать ему, сказать и уйти, наконец, а он все говорил, говорил, увлеченно, уверенный в том, что не слушать невозможно…

— Нет, — осуждающе повторил Ройфе. — Я прочитал их все.

— И что-то в них поняли? — Надя прикусила язык, не должна она была так говорить, это не просто невежливо, это грубо. Конечно, он ничего не понял, что мог психиатр, даже лучший в мире, понять в работах по квантовой космологии в многомировой интерпретации? Но нельзя было так прямо выражать свои сомнения, нельзя…

Ройфе почесал за ухом, усмехнулся, кивнул.

— Только то, что нужно было понять. Послушайте, милая, там все более чем прозрачно. Я имею в виду не формулы, в этом я ничего не понимаю. Главное во всех работах Дегтярева вот что: мироздание ветвится при каждом элементарном процессе, предполагающем не менее двух вариантов осуществления. Это, оказывается, давно известная аксиома многомировой интерпретации, для меня-то это было открытие, но вам Максим, скорее всего, все уши прожужжал этой идеей. Да?

Надя кивнула. Конечно. Уж это не усвоить было попросту невозможно. Даже сейчас, когда она размышляла над тем, оставить ли профессору гонорар в конверте на столе или передать в руки, мир разветвился, в одной реальности она оставит конверт, а в другой передаст лично, и оба мира совершенно равноправны в своей реальности, но вот в каком из них окажется она через несколько минут, когда разговор закончится и надо будет уходить, Надя еще сама не знала.

— Да, — удовлетворенно сказал Ройфе. — И что важно: тот, кто принимает решение, помнит о том, каким был мир до того, как решение было принято. Иначе ветвление теряет смысл, понимаете? Я вижу, что не очень. А ведь это очень интересно. Когда я прочитал, это меня поразило! Как крепко, оказывается, цепляются такие совсем вроде бы не связанные на первый взгляд науки, как космология и психология. Квантовая теория и психиатрия.

Вы еще не понимаете? Смотрите, милая, вот на столе лежит раковина моллюска. Красивая, верно? Я ее когда-то привез из Симферополя. Она не живая, своей памяти у нее нет, и если вдруг кто-нибудь смахнет ее со стола, то эта раковина окажется в двух мирах одновременно: в том, где она упадет и разобьется, и в том, где она, упав, останется целой. Иное дело — разум. Вот вы решаете: дать мне конверт в руки или оставить на столе. Решаете, я вижу. Так вот, когда вы будете уходить, мир раздвоится, но вы не будете этого ощущать, вы останетесь собой, верно? Вы будете помнить, что оставили конверт на столе, и все, о чем думали до принятия решения, будете помнить тоже. Память позволяет нам существовать в единственном для нас мире. В том, который мы выбрали. Понимаете?

— Да, — кивнула Надя. Зачем он говорит все это? Может, действительно, положить конверт и уйти? Профессор ведь ясно сказал только что: оставить на столе. Значит…

— Нет, не понимаете, — огорченно произнес Ройфе. — Тогда скажу прямо. Послушайте, милая: когда вы вошли в то утро в квартиру, то на кухне увидели… что?

— Ничего, — пожала плечами Надя. — Только чашка была разбита, а так…

— На столе стояли…

— Ах, это… Баночка кофе и коробочка с пакетиками чая. Он всегда утром…

— Делал выбор! Чай или кофе. Он выбирал, и мироздание раздваивалось: в одном он пил кофе, в другом — чай. Но и там, и там он помнил о своем выборе! А если… Представьте, что происходит сбой. Любые законы природы имеют статистический характер, этому учили еще в советских вузах, нам даже на медицинском рассказывали о статистической физике. Тепло переходит от горячего предмета к холодному. Но не исключено, что в одном из многих миллиардов триллионов вариантов тепло на какой-то миг перейдет от холодного к теплому… равновесие быстро восстановится, но в то мгновение… Понимаете? Мир ветвится, когда человек… физики говорят «наблюдатель»… Да, так вот, мироздание ветвится, когда наблюдатель помнит прошлое и может принять решение о будущем. Но в момент ветвления иногда получается так, что в одной ветви память наблюдателя сохраняется, а в другой — нет. Для такого человека существует лишь то, что произошло в результате принятия решения. Что было до — исчезает. Вы понимаете теперь, что произошло с Максимом, когда он в то злополучное утро решал: насыпать в чашку кофе или

положить пакетик с чаем? Он принял решение, потянулся за... не знаю, что он решил, этого теперь никто не узнает... В одной из получившихся ветвей он сделал то, что хотел, и все у него там хорошо, и вам не понадобилось уходить от Юрия...

— Я не уходила!

— На время, на время, милая. Не понадобилось. А в другой ветви — в нашей — у Максима исчезла вся память о том, что было с ним до того, как он принял решение. Если бы причина была психиатрической, как полагали мои коллеги, то что-то осталось бы, и память в той или иной степени восстановилась бы, он бы вспомнил, в конце концов, как это бывает при любом виде амнезии... А он не вспомнил, остались только инстинкты, и это явное доказательство... Черт возьми, милая, ваш Максим прекрасно понял — потом уже, изучая науку, в которой решил специализироваться, — что с ним произошло! Это видно по его работам! Я уверен, он вам это объяснял... пытался объяснить... но вы его не слушали, верно?

Надя молчала. Может, Макс и говорил что-то подобное... Да, точно говорил, но ей было... скучно? Она слушала Макса, но думала о Юре, который маялся дома и злился, и думал невесть что, хотя она ему сто раз объясняла, что ничего у нее с Максом нет, но он все равно не верит и ждет, когда, наконец, закончится ее добровольная каторга...

— Вот и все, — неожиданно сухо заключил Ройфе. — К психиатрии, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. А в квантовой эвереттике я не специалист, извините. Поэтому не нужно оставлять конверт на столе и в руки мне его передавать тоже не нужно. Вам эти деньги пригодятся, а Максиму вы не поможете. Тем более, что... если я правильно понял... нам всем уже ничто не поможет.

Профессор неожиданно повернулся и старческой нетвердой походкой направился к окну. Оперся обеими руками о подоконник и принялся что-то разглядывать на улице. На Надю он не обращал внимания, она поняла, что больше ни слова сказано не будет, и как ей поступить, придется решать самой. Напрасно она пришла, лучшие дни профессора Ройфе давно миновали...

— Решать вам, — сказал, не оборачиваясь, Ройфе. — Когда будете принимать решение, руководствуйтесь единственным верным принципом: не навреди. Конверт не оставляйте.

Надя вздохнула и поднялась. Как-то неудобно получилось...

— Максиму напомните: жду его завтра в одиннадцать.

— Что? — переспросила Надя. Зачем Максу сюда приходить, если и так ясно…

— В одиннадцать, — повторил профессор.

— Но вы сами сказали, что к психиатрии его случай…

— Мне нужно с ним поговорить, — перебил Ройфе. — Пока он не наделал глупостей. До свиданья, милая. Извините, что не провожаю, вы сами найдете дорогу?

* * *

Максим оказался в точности таким, каким его профессор себе представил. Высокий, худощавый, небрежно, но по моде одетый, походка уверенная, взгляд открытый, но скрывающий такие глубины, о которых обычный человек — прохожий на улице или репортер телевидения — не мог ничего знать. Ройфе сидел в своем любимом кресле — когда посетитель вошел, профессор приподнялся и протянул руку, которую Дегтярев энергично пожал.

— Честно говоря, — Максим начал разговор, сразу определив рамки и возможности взаимного изучения, — я не очень понимаю цель своего визита. Врачи признают, что я здоров.

— Конечно, здоровы, — кивнул Ройфе, с удовлетворением отметив уверенность Максима, его способность спокойно и достойно держаться. — Я хотел поговорить с вами о другом. Да вы садитесь, лучше в это кресло, напротив, так наши глаза окажутся на одном уровне.

— Не знаю, — продолжал Максим, — почему Надюша обратилась к вам за советом. Я здоров и не хотел бы, чтобы вы тратили на меня свое время.

— Ваше психическое здоровье меня не очень-то интересует.

— Вот как? — вырвалось у Макса, и он удивленно приподнял брови.

— Есть вещи более важные, — твердо произнес Ройфе. — Я имею в виду тему вашего завтрашнего доклада.

— Вы знаете, какова тема…

— Я видел объявление в Интернете, — объяснил профессор.

— И вы…

— Да, я понял, о чем будет речь, — Ройфе откровенно наслаждался удивлением Максима. — Видите ли, я старый человек. Мои коллеги ни черта не смыслят в физическом Многомирии, хотя среди психиатров и есть специалисты, например, Никонов. Его, однако, в консультанты не пригласили, жаль… А у ваших коллег свои шоры на глазах, стремление все описать уравнениями. Это правильно, наверно. Однако из общих соображений…

Знаете, мне очень импонируют ученые — физики, в том числе, которые могут, не решая, сказать, каким окажется решение сложного уравнения. Из общих соображений, да... Интуитивно. Говорят, Эйнштейн обладал такой способностью. Ферми. Еще Фейнман, он утверждал, что физики всегда угадывают новые законы, а не приходят к ним логически. Из наших это умел Зельдович. Как-то, это было еще в семидесятых, я пошел на его семинар в Астрономическом институте, мне было интересно с точки зрения эвристической психологии, я тогда этим интересовался... да, пришел, сел в сторонке. Зельдович действительно... Простите, — прервал сам себя Ройфе, — я вас, кажется, заговорил. Это старческое — вдруг вспоминаешь что-то из далекого прошлого...

— Профессор, — коротко рассмеялся Максим, — не нужно ссылаться на старческие недостатки — вы отлично рассчитали, что̀ сказать, как и в какое мгновение прервать себя...

— Ага, — с удовлетворением произнес Ройфе. — Конечно. Рад, что вы это поняли. Теперь вы готовы говорить на равных? Не как пациент с психиатром...

— Вы поняли, о чем будет идти речь в моем докладе. Это все знают: о проблеме памяти наблюдателя в многомировой интерпретации. Классическая тема, о волновых функциях с памятью пишут уже лет...

— Тридцать, согласен, — перебил Ройфе. — Это мне тоже известно, как видите. Но вы-то будете говорить о конце света, и я не уверен, что для психического здоровья человечества это необходимо.

Дегтярев поднял взгляд и впервые за время разговора посмотрел профессору в глаза. Что-то удерживало его раньше, ему казалось, что, встретившись с Ройфе взглядами, он утратит часть своей личности, он уже имел дело с гипнозом, когда его в прошлом году лечили от болезни, которой у него никогда не было. Врачи думали, что гипноз поможет восстановить память, но он-то чувствовал — не знал, не понимал, но ощущал инстинктивно, подсознательно, необъяснимо ощущал, что никакие усилия врачей, никакой гипноз не восстановят того, что исчезло в момент выбора и для него лично никогда на самом деле не существовало. Он боялся гипноза, потому что ощущал в нем опасность, хотел принимать решения сам, пусть подсознательно, интуитивно, но только сам, и он ненавидел сеансы гипноза, не умея еще отказаться от них, да и возможности такой не имея тоже. Ройфе показался Дегтяреву представителем именно такой психиатрии — ненавязчивой, но навязываемой, взгляд удава, не нужно смотреть в глаза, только в пол, не поднимать взгляда...

Но заявление профессора сломило упрямство Максима.

Взгляд у Ройфе оказался внимательным, добрым, уступчивым, если можно сказать такое о взгляде. Профессор не собирался ничего навязывать, напротив, готов был принять точку зрения Максима, о которой он не мог знать, поскольку сам Максим никому еще не рассказывал, тем более Наде, от которой Ройфе только и мог…

— Откуда вы… — начал Макс, и профессор перебил его сначала резким жестом, а потом словами:

— Я же сказал, молодой человек, вы невнимательно слушаете, хотя все, конечно, запоминаете и можете сейчас…

— Вы говорили о шорах на глазах и стремлении все описать уравнениями. А законы природы не выводятся, но угадываются.

— Вот именно, — с удовлетворением произнес Ройфе. — Ключевые слова: «потеря памяти, наблюдатель, ветвление». Так? Остается добавить: «история, человечество, конец света». Кому-то может показаться странным, но для вас-то естественно, что вторая часть интуитивно, да и логически, вытекает из первой.

— Да, — помолчав, сказал Максим. — Об этом пойдет речь.

— Вас съедят.

— Наверно, — согласился Максим.

— Или наоборот — примут на ура. Возможны оба варианта, верно? И вы не знаете, в каком из двух возможных миров окажетесь после окончания семинара.

— В обоих, естественно, — Максим с упреком посмотрел на профессора: все вы понимаете, а главного не усвоили.

— В обоих, конечно, — закивал Ройфе. — Но не будем играть словами: вы-то в любом случае ощутите, увидите, осознаете только один вариант.

— Естественно.

— Но в обоих, — продолжал Ройфе, — ничего хорошего не предвидится. Если вас поднимут на смех, то может не выдержать ваша психика. Последствия непредсказуемы. А если вы окажетесь на другой ветви, то человечество впервые окажется перед…

Ройфе хотел найти подходящее слово, но оно ускользало, он повторил «окажется перед…» и замолчал, предоставив Дегтяреву самому заполнить возникшую лакуну.

— Вы преувеличиваете, — сказал Максим. — Вполне академический доклад. Академические выводы, интересные в лучшем случае сотне продвинутых сторонников многомировой интерпретации истории.

— Да? — Ройфе поймал смущенный взгляд Максима. — Молодой человек, вы меня извините, я почти ничего не понимаю в этой вашей многомировой интерпретации. Я всю жизнь лечил людей, но в силу моей профессии имел дело с такими удивительными отклонениями… знаете, сейчас я уже не думаю, что… точнее, я бы сказал, что многие из тех, кого я лечил, на самом деле были бы вполне нормальными людьми… в другой ветви Многомирия. В молодости, мне было лет тридцать, это шестидесятые годы прошлого века, оттепель, тогда можно было говорить и делать многое из того, что раньше или позже, увы, было невозможно. А я был молодой да ранний, занимался амнезиями. Даже собирался диссертацию писать. Написал, в конце концов, но совсем на другую тему — о параноидальной шизофрении… Я не о том. Да. Амнезии. Были у меня два пациента с полной потерей памяти — не как у вас, но похоже, с той разницей, что какие-то обрывки воспоминаний удалось все же восстановить… гипноз, в основном… И мне пришла в голову довольно нелепая, как мне показалось, мысль. Я тогда Юнга читал, общественное бессознательное, синхронистичность… История — материальная память человечества. Если существует общественное бессознательное, то наверняка есть и общечеловеческая память. Не то, что написано в исторических книгах, а то, что хранится в общей памяти человечества. Человечество, как единый организм. Тогда в фантастике были похожие идеи, а я любил фантастику. Подумал: не написать ли рассказ о том, как в один прекрасный день человечество теряет память о собственном прошлом? Такая общественная амнезия. Никто ничего не помнит. Я даже причину придумал. Тогда все боялись ядерной войны. Кубинский кризис, испытания бомб… Фильм «На последнем берегу» — американский, его у нас не показывали, но много о нем говорили, так было у нас принято: не показывать, но рассуждать, будто все видели и знают, о чем речь… И вот просыпается человечество и… ничего не помнит: результат ядерных взрывов, облучение… Неважно. Конец цивилизации. Я знал, как ведет себя личность, лишившаяся памяти. А если предположить, что все человечество… Я прекрасно понимал, что для научной статьи эта идея… неадекватна, скажем так. У меня, кстати, был тогда материал, доказывавший… нет, это слишком сильно сказано… но коекакие аргументы были в пользу того, что в истории человечества такое уже случалось… общественная амнезия, да… В общем, начал я писать рассказ. И бросил. Сейчас уже не помню почему. Кажется, просто времени не было: пациенты, диссертация, женитьба, а тут и оттепель закончилась… В общем, все.

— В общем, все, — повторил Максим. — И совсем ничего не сохранилось?

— Ага! — воскликнул Ройфе. — Вам стало интересно? Что этот старый хрыч мог написать сорок лет назад? Сравнить хотите, а?

Макс промолчал.

— Я ничего не знал об Эверетте. Откуда мне было знать? Как я понимаю, в те годы даже в Штатах о его работе мало кто слышал. А многомировая психиатрия — так и вовсе изобретение последнего десятилетия. Сейчас я понимаю, как это было наивно, — я имею в виду идею о том, что человечество может лишиться памяти из-за ядерной войны. И вот ваш случай. Читаю анамнез, изучаю динамику и вспоминаю идею полувековой давности… в тот же день вижу в сети объявление о вашем семинаре и тему… Синхронистичность, да? Нормальное явление. И понимаю, что должен поговорить с вами.

— Ваши аргументы, — не очень вежливо прервал Максим. — Вы говорили об аргументах. Мне интересно…

— О! — Ройфе наклонился к Дегтяреву и положил ладонь на его колено. — Вам интересно! Сравним? Сначала вы. У вас доклад готов, вы все держите в памяти, а я должен напрячь свою… Начните, а я дополню… если вспомню.

— Вам с теории начать или…

— С теории, — быстро сказал Ройфе. — Я приблизительно представляю наблюдательные аргументы, а с теорией у меня неважно.

— С теорией как раз все просто, — улыбнулся Максим. — Ветвление волновых функций сейчас хорошо изучено, тут нет проблем. При каждом ветвлении — как предполагалось — наблюдатель сохраняет память, иначе процесс теряет физический смысл. Наблюдатель — не обязательно человек, личность. Это нечто, обладающее памятью и способное фиксировать внешние изменения. Наблюдателем может быть любая структура. И человечество в целом, в том числе. В истории постоянно происходили и происходят события, ветвящие реальность. Революция могла быть, могла не быть. Могла произойти в пятницу, могла в субботу. Наполеон мог напасть на Россию, мог отказаться от кампании.

— Да-да, — Ройфе нетерпеливо постучал пальцами по колену Макса, — это все… Альтернативная история? Об этом сейчас…

— Много написано, — кивнул Максим. — Заметьте: память человечества сохранялась при любом ветвлении. История шла другим путем, но все, что происходило прежде, оставалось в

памяти. Между тем, это квантовая статистика, не классическая. Солнце всегда восходит на востоке и не может вдруг, случайно, взойти один раз на западе. В квантовой статистике такое возможно. Я не солнце имею в виду, понятно, а, скажем, электрон. Здесь — вероятности, может произойти так, может иначе, разница в вероятностях того или другого исхода. И наблюдатель ветвлений — тоже квантовый объект. Это значит, что при интерференции волновых функций могут меняться даже такие базовые параметры наблюдателя, как память…

— Все это для меня темный лес, — вздохнул Ройфе. — Боюсь, я так и не…

— Неважно! — воскликнул Максим. — Суть вы поняли сорок лет назад, даже удивительно. Зря вы не написали рассказ, это был бы шедевр.

— Не был бы, — быстро вставил профессор. — И давайте не обо мне.

— Да. Не о вас. Я тогда стоял на кухне и выбирал, что пить — чай или кофе. Произошло ветвление — обычное, каких триллионы происходят каждый момент. С одним «но». В одной ветви я полностью сохранил память, в другой полностью ее потерял. Для меня Вселенная возникла именно в тот момент. Из хаоса, из ничего, потому что в моей памяти ничего не было. Я видел этот мир, я его ощущал, я его постепенно познавал, но при этом не мог — и сейчас не могу — что бы мне ни говорили! — избавиться от ощущения, что до момента, когда я осознал себя где-то… я не понимал где, я не мог еще даже думать, кроме как образами, потому что не знал слов… в общем, до этого момента Вселенной попросту не было, понимаете?

— Вы говорили об этом своем ощущении врачам?

— Не говорил, — покачал головой Максим и настороженно посмотрел на профессора. — А что… надо было?

— Нет, — отрезал Ройфе. — Могу представить! Теперь я понимаю, как вы пришли к мысли…

— Вовсе не потому! То есть, наверно, в подсознании была и эта идея. Идеи ведь из подсознания приходят, верно? Интуиция. Вы уже вспоминали Фейнмана. Но самому мне кажется, что пришел я к идее логически — решая волновые уравнения ветвлений для комплексов наблюдателей.

— Это, наверно, очень сложно… — неуверенно проговорил Ройфе.

— Сложно! Такие уравнения невозможно решить при нынешних возможностях компьютеров. Когда-нибудь… У меня

большая надежда на квантовые компьютеры, даже не на их быстродействие, а на то, что они смогут получать информацию из других ветвей Многомирия, и, следовательно, решение окажется возможно без долгих расчетов…

— Для меня это китайская грамота…

— Я опять увлекся, простите. Так вот. Ежели человечество есть коллективный наблюдатель, а реальность ветвится в результате деятельности человеческого разума, то возможны случаи, подобные моему. В одной ветви память человечества сохраняется, в другой — исчезает. В принципе, зная численность человеческой популяции, эволюционное состояние и кое-какие другие распределения, можно посчитать вероятность…

— Вы посчитали?

— Да. Получилось…

— Примерно шесть тысяч лет.

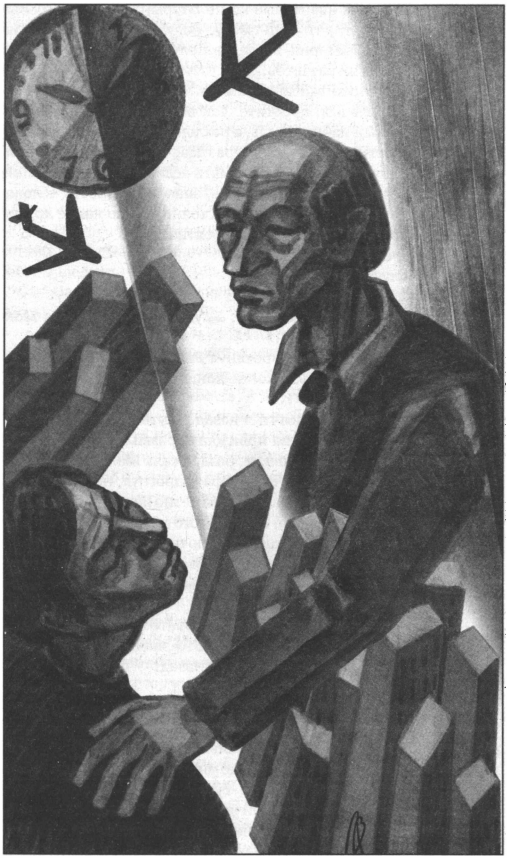
— Примерно шесть тысяч лет, — удивленно повторил Максим. — Вы откуда…

— Ну… — добродушно протянул Ройфе. — Я-то из библейских источников. Вы ведь, в конце концов, тоже к ним пришли, да?

— Примерно шесть тысяч лет назад… чуть меньше, если точно… в истории человечества произошла развилка, — рука профессора, лежавшая на его колене, раздражала Максима, и он довольно невежливо столкнул ее, Ройфе вздрогнул, но промолчал, сложил руки на груди и слушал, едва заметно кивая. — Я не знаю, что именно тогда произошло, теперь этого никто не узнает, разве что по археологическим раскопкам… пока я не нашел ничего такого, но я в этом не специалист… человечество, как единый организм, перейдя на новую ветвь Многомирия, лишилось памяти о прежнем своем существовании.

— Извините, что перебиваю, — виновато произнес Ройфе, — вы говорите о памяти человечества. Это значит, что человечество в то время — шесть тысячелетий назад! — представляло собой единый организм?

— Да. Миллионы лет эволюции. Интуитивный способ познания — науки не было, не было логики, не существовало эксперимента как метода изучения реальности. Но интуиция была, инстинкт, как у животных, только на более высокой ступени развития… В квантовой физике существует память ансамбля частиц. Примерно то же… Сейчас происходит глобализация. Одно из следствий — возникновение общечеловеческой памяти, как это уже бывало в прошлом. Шесть тысячелетий назад



тоже происходила глобализация — по тогдашним меркам, возникновение общего бессознательного. Человечество осознавало себя, люди начали смотреть на небо, но однажды… Очередное ветвление, и в нашей ветви человечество теряет память. Полностью. Табула раса. Мгновенно. Ну… не совсем мгновенно, но в пределах квантовой неопределенности, которая для такого числа зависимых наблюдателей составляет что-то около двух-трех суток. Люди ничего не помнят. Они, как младенцы, тычутся во все стороны, ничего не понимая. Кому-то инстинкты позволяют выжить, но многие погибают в первые же часы. Я не могу сказать точно, но, скорее всего, от человечества осталась тогда хорошо если половина. Люди уверены в том, что мир, который они наблюдают, вся материальная Вселенная, данная им в ощущениях, все это возникло вдруг, из ничего, в тот самый момент, когда каждый из них раскрыл глаза и увидел… траву, не зная еще, что это трава, солнце, не зная, что это солнце, волка, не зная еще, что это хищник и нужно держаться от него подальше…

Ройфе кивал, слушая, но желание вмешаться переполняло его, и он не выдержал:

— Послушайте, вы собирались говорить о теории…

— Я и говорю о теории. Я не могу точно решить уравнение существования для квантового ансамбля наблюдателей, но интуитивно в состоянии дать оценку таких решений. По Фейнману. Угадать. И решение именно таково: с вероятностью, близкой к единице, шесть тысяч лет назад ансамбль наблюдателей, который мы называем человечеством, лишился памяти при одном из ветвлений мироздания.

— Это было чем-то выделенное ветвление или…

— Хороший вопрос! Я думал об этом, конечно. Нет, похоже, это было обычное ветвление, какие происходят каждое мгновение. Но я не уверен. Возможно, вы правы, и это ветвление было выделено каким-то внешним обстоятельством. Но это лишь предположение. Нет доказательств. Как бы то ни было, потерявшее память человечество вынуждено было начать все заново. Обучаться — от инстинктов к новому разуму. Без врачей и учителей. Само. Обратите внимание, профессор, именно в четвертом тысячелетии до новой эры — около шести тысяч лет назад — люди сделали самые выдающиеся открытия и изобретения. Именно тогда неожиданно возникли и стали развиваться новые культуры: трипольская культура там, где сейчас Украина и Молдавия, культуры Абу-Шахрайна, Убайда, Хаджи-Мухаммеда и Варки в Месопотамии. Появились предпосылки к развитию ирригационного

хозяйства, в Древнем Египте создали систему бассейнового орошения, в Англии построили Стоунхедж, в Месопотамии возник первый город Урук и была создана клинописная система письма. Кстати, именно при раскопках Урука были обнаружены самые древние письменные документы в истории человечества — это примерно три тысячи триста лет до новой эры, все то же четвертое тысячелетие… Много тысяч лет человечество эволюционировало, не зная письменности, память вида успешно ее заменяла, но вдруг память исчезла, и пришлось… Обратите внимание: в течение нескольких столетий возникла письменность шумеров, иероглифическое письмо в Египте, идеографическая раннехараппская письменность в Индостане…

— Я вижу, вы изучили предмет, — не удержался от замечания Ройфе.

— Что? Не думаю, что на хорошем уровне, но изучил, да. И еще: именно в те века стали развиваться города, общество изменилось, изменились общественные отношения, было изобретено колесо, человек научился плавить медь. Возник календарь — обратите внимание, индейцы майя ведут летосчисление от 3113 года до новой эры, иудеи — от минус 3761 года. Кстати, если все это так, то получает естественное разрешение сложнейшая проблема, которую богословы и ученые обсуждают много лет. Парадокс. Согласно большинству религий, Вселенная была создана Богом около шести тысяч лет назад, так? Но мы прекрасно знаем: Вселенная возникла в результате Большого взрыва тринадцать миллиардов лет назад, возраст Земли чуть меньше пяти миллиардов лет, жизнь на планете возникла три миллиарда лет назад, триста миллионов лет назад на Земле жили динозавры, первые люди появились сто миллионов лет назад… всему этому есть абсолютно надежные доказательства.

— Эх-хе-хе, — Ройфе тихо рассмеялся. — Извините, я вспомнил, как лет еще… давно… спорил до одури с одним приятелем. Он, как мне казалось тогда, немного свихнулся на почве неудачной любви и с горя подался в монастырь. Представляете? Начало семидесятых. Это ж надо было… Впрочем, если бы он не ушел в монастырь, то наверняка стал бы моим пациентом. Я-то никогда не думал, что он психически болен, но время было такое… Что я хотел сказать? Да, мы с ним спорили. Он, понятно, уверял, что Бог создал Вселенную около шести тысяч лет назад, а я ему тыкал в нос археологические, палеонтологические и космологические данные. А он мне говорил: все в воле Божьей. Творец всемогущ, и ему ничего не стоило создать мир таким, чтобы нам,

в невежестве нашем, казалось, будто Вселенной уже миллиарды лет. «Зачем это Богу надо? — кричал я. — Чтобы морочить людям мозги?» «Пути Господни неисповедимы, — отвечал он смиренно. — Нам ли, смертным, понять замысел Творца?» Типичная религиозная ахинея, — так я тогда думал. Но если шесть тысяч лет назад человечество лишилось памяти, и для нас действительно именно тогда возникла Вселенная… то этот нелепый парадокс решается очень просто, вы согласны?

— Конечно! Все подсказывает: около шести тысяч лет назад в истории цивилизации произошел слом, что-то такое, в результате чего человечество начало развиваться во много раз быстрее, интенсивнее…

— Как вы, — опять не удержался Ройфе, — после того злосчастного утра.

— Вот именно! — Максим вскочил и принялся ходить по комнате, выбирая, однако, путь таким образом, чтобы видеть профессора, не спускать с него глаз, ловить каждое движение, каждый взгляд, ощущать его напряжение, его желание понять. — Моя память была пуста, и новые сведения впечатывались в нее навсегда и прочно, всякое новое знание застревало надежно, и каждый день я узнавал столько, на что в обычных обстоятельствах потребовалось бы пять или даже десять лет. Да о чем говорить! Прошло всего два с половиной года после того… И я — доктор наук, я делаю завтра доклад, который придут слушать академики и нобелевские лауреаты!

— Я о том и говорю, — подал голос Ройфе. — Академики и лауреаты, да. И вы скажете им, что человечеству осталось существовать не больше сотни-другой лет. И, в отличие от многих пророчеств, это совершенно надежное.

— Что? — Максим остановился. — Не понял.

— Все вы прекрасно понимаете, молодой человек, — сухо произнес Ройфе, и взгляд его сделался неприязненным, тяжелым, отталкивающим. — Не нужно передо мной… Если вы рассчитали момент критического ветвления, то не могли не рассчитать и периодичность. Или вы хотите сказать, что даже не пытались разобраться в том, как часто могут происходить аномальные ветвления? Как часто теряет память единичный наблюдатель? Вы, например? А система наблюдателей? Есть ли корреляции между эволюционным состоянием наблюдателя и аномальными ветвлениями? Вы ничего этого не считали? Если нет, то мое мнение о вас, молодой человек…

Ройфе не закончил фразу и демонстративно отвернулся. Голуби за окном начали, как вчера, шумную возню, и профессор

переключил на них внимание. Или сделал вид, что переключил. Он даже привстал, чтобы лучше видеть, но краем глаз наблюдал за Максимом, тихо вернувшимся на свое место и усевшимся в кресло.

— Да, — сказал Дегтярев, наконец. — Ну и что? Я вам больше скажу. Конечно, я пытался найти периодичность... точнее, квазипериоды, их продолжительность зависит от состояния наблюдателя... в данном случае речь идет о коллективном бессознательном, а это усложняет...

— Вы не сумели... — начал Ройфе, и в его голосе Максиму послышалась надежда.

— Почему же? Сумел. В пределах квантовых неопределенностей, конечно. Плюс неопределенности в структуре волновой функции. В результате получается ошибка в определении от пяти до восьми...

— Столетий, — кивнул Ройфе. — Это вполне соответствует библейским...

— Лет, — поправил Дегтярев. — Две тысячи двадцатый год плюс минус примерно три-пять лет. И это тоже библейским пророчествам не противоречит. Шесть тысяч лет до прихода Мессии у евреев — это не точная дата, а приближение. Круглое число, для простоты счета. Мессию уже сейчас ждут, а ведь осталось больше двух столетий.

— Вы хотите сказать...

— Если говорить о нижней границе по уровню одна сигма, то это — будущий год, — виновато пожал плечами Максим. — Но наиболее вероятно, что аномальное ветвление произойдет лет через семь-девять. Косвенные подтверждения, кстати... Общественное бессознательное глобализируется, этому процессу несколько десятилетий, и темп глобализации уже вышел на экспоненту.

— Вы представляете последствия? — взгляд Ройфе стал жестким, старик наклонился вперед, и Дегтярев неожиданно почувствовал, что не может отвести взгляда, не может даже моргнуть, зрачки у профессора стали похожи на два колодца, откуда выглядывала... выглядывало... что-то притягивавшее, всасывавшее, заставлявшее говорить, не раздумывая, но он и так собирался сказать, зачем же так... он собирался...

— Представляю... — медленно произнес Дегтярев. — Однажды все люди вдруг ощутят, что раньше ничего не было. Пустота. Остались одни инстинкты. Как у меня в то утро. Но у меня был поводырь... была Наденька. А у человечества поводыря не

будет. Пришельцы на помощь не придут — нет никаких пришельцев. И вы видите вокруг непонятное… Что-то… Вы даже назвать это не можете, потому что память о языке исчезла тоже. Это гибель… Тогда, шесть тысяч лет назад, человечество не только выжило, но и начало развиваться во много раз быстрее, чем прежде, потому что… ну, тогда нечему было взрываться, воспламеняться, не было автомобилей, которые могли столкнуться, не было самолетов, которые могли упасть, ничего не было, и человечество выжило, хотя численность уменьшилась… намного, я полагаю. А сейчас… Если выживет хотя бы сто тысяч… или миллион… Не миллиард, а золотой миллион, и не в развитых странах, где не спасется никто, потому что техногенная катастрофа будет ужасающей, а где-нибудь в южно-американских джунглях… Пожалуйста, профессор, не смотрите на меня так… я не могу…

— Но ведь лишь на одной из ветвей человечество потеряет память. На другой — память сохранится, верно?

— Да, конечно.

— Может, мы окажемся на более счастливой ветви?

— Профессор, пока еще мы на ветви, которая не разделилась на две. Аномальное ветвление произойдет лет через семь-девять. И мы будем на обеих новых ветвях. Ведь на какой-то ветви я не терял память два года назад…

— Но вы-то, вы — нынешний, с кем я сейчас говорю, вы-то память потеряли!

— Да. Одному моему «я» не повезло. Другому…

— Кому-то не повезет наверняка.

— Да.

— Вы собираетесь завтра назвать эти числа?

— Конечно. Есть уравнения, есть решение…

— Это где-то записано?

— Конечно. В компьютере…

— Жаль. Хотя… Если вы… Никто не станет… — речь Ройфе становилась все менее внятной, а взгляд — все более жестким и притягивающим.

Профессор поднялся и положил обе ладони на плечи Дегтяреву.

— Какая у вас тяжелая голова, — сказал он. — Вам хочется спать… очень…

— Да…

— Сейчас все пройдет… скоро… через минуту… и вы поедете домой… поедете домой и сотрете все файлы, где есть числа, связанные с решением уравнений ветвления… сотрете все

файлы и сами забудете это число… забудете это число, и завтра ваш доклад не состоится, потому что вы почувствуете слабость… почувствуете слабость и останетесь дома… останетесь дома, отдохнете… Пророк никогда не называет конкретных дат. Никогда. Вы меня понимаете…

Он не ждал ответа, и Дегтярев не ответил, он сидел перед профессором, расслабившись, неотрывно смотрел в глаза, губы его шевелились, но видел он… что он видел…

— Сейчас все пройдет, — говорил Ройфе, внутренне ужасаясь тому, что может не получиться, он давно не практиковал гипноз, да и пациент попался необычный. Внушаемый, да, очень внушаемый, такая у него, к счастью, физическая структура, но профессор не знал и не мог знать, не было у него такого опыта, как подействует гипноз на человека, не так давно лишившегося памяти, реакция возможна неадекватная, пока, правда, все идет нормально, как обычно… — Сейчас, на счете «три» вы почувствуете себя хорошо, поедете домой и поступите так, как я сказал. Людям не нужно знать… Если на одной ветви они… мы… впрочем, я-то не доживу… десять лет — много, да… Все. Считаю. Один. Два. Три.

— Простите, профессор, — сказал Максим, сбросив оцепенение и ощутив обычную легкость мыслей. — Я задумался.

— Ничего, — равнодушно произнес Ройфе. — Я хочу сказать: вы совершенно здоровы. Вас хорошо лечили, и я не вижу побочных эффектов. Хорошо, что вы пришли ко мне…

— Меня просила Надя, сам бы я не…

— Очень хорошо!

— Я могу идти, профессор?

— Да, все в порядке. Свое заключение я перешлю вам по мейлу.

— Я вам должен…

— Ничего! Мне было интересно с вами поговорить. Всего хорошего. Извините, что не провожаю… Вы сами найдете дорогу?

— Конечно, профессор. До свиданья.

Макс пошел к двери с ощущением, будто ноги несут его сами, а он-то хотел еще… чего-то он хотел… странно, он начал забывать? Он никогда ничего не забывал. Ничего. Почему сейчас… Нужно сказать об этом профессору…

Он обернулся.

— Да, — сказал Ройфе, вновь втянув в себя взгляд Максима, — я о вашей Надежде. Вы, наверно, не знаете, что муж у нее уже есть? Его зовут Юрием.

— Что вы…

— Она была с вами эти два года потому, что вы нуждались в опеке. Она ведь никогда не оставалась с вами на ночь? Мол, когда поженимся… Да? Так вот, вы здоровы, и у Нади нет ни причин, ни повода заботиться о вас, как прежде.

— Вы хотите сказать… Это невозможно! Мы любим друг друга!

— Да? — равнодушно произнес Ройфе. — Блажен, кто верует… Дверь, кстати, нужно толкнуть, а не тянуть на себя. До свиданья, молодой человек.

* * *

Коробка со старыми пожелтевшими бумагами стояла на антресолях с незапамятных времен и покрылась таким слоем пыли, что Арише пришлось поработать влажной тряпкой, прежде чем выполнить просьбу деда и отнести никому не нужную коробку к нему в кабинет. Надо убирать на антресолях хотя бы раз в год, — думала она. — Мама с папой об этом не думают, а дедушка…

— Ну что? — нетерпеливо крикнул снизу профессор. — Как ты долго!

— Да здесь столько пыли, — пожаловалась Ариша. — Я сейчас.

Она едва не упала, когда спускалась, и едва не подвернула ногу, когда тащила коробку из кладовки через всю квартиру. Дед кивнул ей — иди, мол, теперь я сам, — и, сев на скамеечку, перерезал веревку, которой когда-то перевязал коробку, поднимая на антресоли.

Внутри пыли было меньше, пожелтевшие бумаги лежали аккуратно, и Ройфе довольно быстро нашел ту, что была ему нужна. Он осторожно перекладывал страницы, вчитывался и удовлетворенно сам себе кивал. Пророк не должен называть даты. Он и не называл. У него тогда не было таких знаний, которые есть сейчас. Наука ушла далеко вперед, да… Что он мог знать в шестьдесят седьмом о Многомирии, ветвлениях, Эверетте, который всего за десять лет до того защитил свою, оказывается, выдающуюся диссертацию? Ничего он об этом не знал. Начитался он тогда Юнга, сидел вечерами в Ленинке… Синхронистичность, общественное бессознательное… А он занимался амнезиями, лечил… Вот: «Амнезия общественного бессознательного». Очень интересно было самому с собой рассуждать на эту тему — он-то прекрасно понимал, что опубликовать статью не удастся. И слава Богу. Это он сейчас так думает — слава Богу. А тогда очень хотел стать пророком. Не так он думал, конечно, но по сути… «Амнезия общественного бессознательного может наступить в результате

стресса, которому подвергнется человечество, как единый организм. Ядерная война может привести»... Ну да, тогда все боялись, что случится ядерная катастрофа. Физики писали о том, как водородные бомбы уничтожат биосферу, но он-то был практикующим врачом-психиатром и думал совсем не о том, о чем думали все. Стресс социума и как следствие — амнезия общественного бессознательного, общий хаос... Человек с амнезией может выжить — его поддержат, вылечат. А человечество... Некому помочь. Не пришельцы же, в самом деле...

Вот интересно. Сорок с лишним лет прошло. Все повторяется. У Дегтярева, конечно, иной подход, иная аргументация, у него физика, уравнения, квантовая структура реальности... темный лес. И точная дата. Он никогда бы не смог... Хорошо, что Дегтярев согласился прийти. Якобы на обследование. Лучший психиатр страны, давно на пенсии, но когда-то занимался амнезиями, надо бы проконсультироваться, да. Это он так сказал Наташе Мозговой, а та передала Оле Савериной, Оля хороший психиатр, она вела Дегтярева последние месяцы, и просьба бывшего учителя для нее почти приказ. Молодец, она все правильно сказала Наде, той и в голову не пришло, что ею манипулируют. Последняя консультация, да. Пришла. И Максима убедила.

А если бы не... Глупости. Но в какой-то ветви... Если эта странная теория верна, то тогда, во время разговора Оли с Надей тоже произошло ветвление реальности, и на одной ветви Надя решила прийти к профессору за советом, а на другой — отказалась. И там Дегтярев сделал свой доклад...

Была еще одна развилка. Надя сказала Максиму, но он мог отказаться — не пойти на прием...

Сколько же на самом деле таких ветвей, где сегодняшний разговор не состоялся, и сколько ветвей, где разговор был, но подействовать на психику пациента не удалось, и сколько ветвей...

Странная теория. У физиков много странных теорий. А у него только одна, и та старая, но зато правильная. Пророк не должен называть дат. Пророк должен оставлять шанс.

Он оставил?

«Надеюсь, да», — подумал Ройфе, подравнивая листы и опуская их назад, в коробку.

Зазвонил телефон.

— Дедушка, тебя! — крикнула из гостиной Ариша.

— Принеси, — не повышая голоса, сказал Ройфе. У внучки хороший слух, услышит. А не услышит, то сама догадается.

Он взял трубку из теплой руки.

— Слушаю…

— Профессор! С ним опять… Я не знаю… Умоляю, вы можете приехать? — женский голос звучал истерически громко, и Ройфе сразу понял…

— Надежда Сергеевна, — строго сказал он, и рыдания в трубке мгновенно смолкли. «Я еще не разучился держать пациента под контролем», — с удовлетворением подумал Ройфе. — Милая, все будет в порядке, успокойтесь. Это наверняка не полная потеря памяти, всего лишь временная амнезия. От стресса случается. Вы, наверно, сказали, что должны его оставить…

— Я не…

— Сказали, вы же собирались, верно? Не следовало этого делать.

— Я… Наверно, сказала. Давно собиралась. Но… Вы думаете, что…

— Наверняка.

«Всего лишь временная амнезия». Надо осторожнее. Откуда он может знать? «Она сейчас в таком состоянии, что в точности мои слова не запомнит». Спокойно.

— Слушайте меня, милая, — голос звучал ровно, убедительно, без старческой сухости, так он говорил с пациентами, когда работал главным врачом в клинике, даже Наполеоны подчинялись его властным интонациям. — Слушайте. Немедленно позвоните профессору Савериной. Объясните, что произошло. Обязательно скажите о том, что вы сами создали стрессовую ситуацию, объявив о своем уходе.

— Я…

— Обязательно скажите, не надо скрывать. Что именно Максим забыл, по-вашему? Он помнит, что было утром? Неделю назад? Год?

— Господи… — Надя тихо плакала, а профессор терпеливо ждал, немного отодвинув трубку от уха. — Как же… Простите, что вы спросили?

— Я спросил, что именно, по вашему мнению, забыл Максим?

— Он не помнит, что был у вас…

Конечно. И не должен.

— Забыл, что завтра у него выступление…

— Ну, — сказал Ройфе, — это не страшно. Напомните.

— Забыл, что… Господи, он совсем не помнит ничего, что было на прошлой неделе…

— А прошлой зимой…

— Я не… Да. Только как-то… не все.

— Ретроградная амнезия, — задумчиво произнес Ройфе. — В общем-то, типичные симптомы, но по такой отрывочной информации точно не скажешь. Позвоните профессору Савериной. И меня держите в курсе, хорошо?

Он положил трубку на стол. Открыл закрытую уже, но еще не перевязанную коробку. Нашел опять старые листы и поднес к глазам.

Пророк не должен называть дат.

Не навреди. Он навредил. Максим был здоров, а теперь…

Что важнее? Психическое здоровье человека или всего человечества?

«Я все равно не доживу до того дня, когда человечество лишится памяти, — подумал Ройфе. — Десять лет, даже если плюс-минус… Много. А взгляд Максима будет передо мной всегда».

Пусть.

Профессор еще раз перелистал желтые страницы.

«Многомирие, — подумал он. — Ветвления. Квантовые наблюдатели с памятью. К чему эти сложности? Физики всегда придумывают сущности сверх необходимого. Оккама на них нет. Все проще. Здесь, на этих листах, — проще. Общественное бессознательное, память человечества, стресс, амнезия, гибель… Логика и аналогии. Никаких формул. Почему я тогда даже не попытался опубликовать статью? Побоялся? Конечно, и это тоже — карьера, диссертация, должность… С другой стороны… Было еще что-то, мешавшее… какая-то мысль… не помню… так давно»…

Ройфе сложил листы вдвое, потом вчетверо, пригладил, рвать не стал, не то чтобы пожалел, просто лишнее усилие… Потянулся и выбросил бумаги в корзину для мусора. Ариша вынесет.

Ариша… Ей будет под тридцать, когда… У нее и дети уже будут, мои правнуки. И они тоже…

Сказать?

Он представил огромные зеленые глаза Аришы, своей любимицы. Огромные испуганные глаза, в которых застынет безнадежность.

Не навреди.

Пророк не должен называть дат.

ЕВГЕНИЙ ОБУХОВ

Тлим и грозим

Ироническая проза

1. Во второй раз Матвея Ивановича Венчальникова забрали в психушку прямо с центральной площади.

Испокон века дело с этой треугольной градообразующей единицей обстояло так. С одной стороны её ограничивало старое шоссе, на которое, как шашлык на шампур, был нанизан весь остальной райцентр. Сбоку торжественный плац упирался в ряд облупленных трибун и в заросший парк. А с третьей стороны широкий, выложенный серо-розовой плиткой клин отгораживало административное здание с флагом. Угол здания почти втыкался в шоссейный бордюр.

Когда-то внутри описанного периметра в полном соответствии с календарём праздничных и памятных дат проходили демонстрации, унылые из-за своей примелькавшейся яркости. Теперь людей в центр городка никто не сгонял, а если вдруг по случаю какого демторжества звали и агитировали, они не шли. Разве что сбивались к трибуне самые безответственные — за халявное пиво.

Поэтому на пустынной-то площади Венчальникова заприметили сразу. Секретарша первого зама присела на подоконник покурить, оглянулась на улицу и заприметила. Потом из распахнутых по случаю жары административных окон долго и со всё возрастающей тревогой наблюдали, как Матвей Иванович на четвереньках пресмыкался по рядам квадратных плит.

Чуть виляя приподнятым задом, он внимательно оглядывал травку, пробившуюся в плиточных стыках. И, остановившись, наконец, скомандовал громким, хорошо поставленным голосом на всю гулкую в объятьях высоких домов площадь:

— К торжественному параду — товсь!

Тут же сам себе ответил:

— Есть, к параду товсь!

И бойко пополз дальше. Возле следующей плитки он замер, наклонил физиономию к самой поверхности и, взяв под козырек, отрапортовал:

— Товарищу Сталину — ура!

Преодолев по площади ещё полметра, Матвей Иванович забеспокоился, заозирался. Но, наконец, разглядев что-то между хилыми травинками, опять резко взял под козырек, потеряв при этом равновесие и едва не уткнувшись носом и подбородком в камень:

— Товарищу и господину Ельцину, борцу и продолжателю — ура!

Районные власти не пожелали дальше любоваться на это безобразие. И, посовещавшись накоротке, задумали было сплавить Венчальникова в вытрезвитель. Но при повторном более пристальном взгляде из окна их смутила чеканность фраз и чёткость отдания чести. На сильно выпившего Венчальников не тянул даже в глазах щепетильных японцев, предполагаемых в райцентре по причине модного братания городов.

И тогда зам. главы администрации позвонил главврачу.

2. В первый раз Матвея Ивановича Венчальникова забрали в психушку, когда он залёг в зарослях лебеды и двухлетних лопухов на окраине города с духовым ружьём. Одноэтажная окраина не привлекала новых богатеев. Томными вечерами застоявшийся воздух наполнялся там деловитыми разговорами соседей-огородников, тарахтеньем дешёвых автомобилей и выливающимися в открытые окна вздохами телесериалов. Утром и днём по старому асфальту бродили куры.

Матвей Иванович угнездился перед канавой на перекрёстке. Оттуда хорошо просматривались две улицы.

Послюнив большой палец, он снаряжал пульку в винтовку, ёрзал в бурьяне, прицеливаясь и выгадывая сектор обстрела, а потом бабахал по беспечным пернатым.

— Манкурты! — плотоядно бормотал при этом стрелок. — Агенты ворья! Питекантропы недобитые!..

Особенно насторожило вызванных врачей и омоновцев то, что при задержании Венчальников сопротивления не оказал, на борьбу с птичьим гриппом не ссылался, а всё пытался что-то втолковать сердитым конвоирам — возбуждённо, слюняво, невнятно.

3. Вдохновению ж не прикажешь. Оно является, как дефолт — бурно, внезапно и ярко.

В конце восьмидесятых на волне перестройки, обновления партии и внедрения трезвости нормой жизни ваятеля Венчальникова осенило. Новая и очень оригинальная идея состояла в том, чтобы создать образ В.И. Ленина. Но не просто так, а с тремя кепками.

Купленные на последние деньги полкузова глины не пропали зря. Ленин вышел замечательный, ростом 3 метра 15 сантиметров от постамента, обосновавшегося в глубине смотровой ямы, до балок перекрытия (выше не позволял потолок переделанного под мастерскую гаража). Одна кепка была у вождя на голове как знак простоты и пролетарскости, вторая — в вытянутой руке как весомый указатель направления светлого будущего, третья — выглядывала козырьком из кармана развевающегося на революционном ветру простенького пальто как доказательство нестяжательства и большевистской аскетичности.

Матвей Иванович так и объяснил чиновнику в городском отделе культуры, куда обратился с предложением подарить трёхметрового Ильича городу и украсить им клумбу перед входом в парк культуры и отдыха. Но, видно, что-то знал о ближайшем будущем или чувствовал что-то в конце непростых восьмидесятых ушлый Свирид Петрович Владимиров, чиновник от культуры, в русле перестройки взяток не берущий. Вождь, выкрашенный серебрянкой, ещё бы пятилетку назад пошедший здесь на ура, теперь не вызвал у босса культур-мультур прилива энтузиазма.

Отказать он, истинный член бюро райкома, не имел права. Но и поспешно украшать город необычной фигурой Ильича, в принципе теряющего авторитет в рядах модных, набирающих силу и наглость демократов, тоже остерегался. Свирид Петрович выбрал самый надёжный путь — он повёл дарителя по кабинетам, всюду показывал, представлял и ставил в пример.

Но попутно попросил для соблюдения незначительных формальностей согласовать место установки монумента с архитектурным отделом и время установки — с оргмассовым. Побывать во дворце культуры и заручиться участием в празднике открытия

коллективов танцевального, хорового и духового оркестра. А заодно представить накладные и чеки о покупке полмашины глины, все документы на переоборудование гаража под мастерскую, где был сотворён шедевр, включая общий план земельного владения и справки бюро технической инвентаризации о соответствии постройки утверждённому первоначально плану. И договориться с вездесущей, насквозь прокуренной, джинсовой и не имеющей возраста корреспонденткой местной газеты Ритой Курановой насчет большого полностраничного репортажа о его, скульптора Венчальникова, творчестве и об открытии означенного памятника.

Через месяц исхудавший и забывающий бриться Матвей Иванович с помощью нанятого за две поллитры крана выдворил своего Ильича в палисадник. Там сфотографировал изваяние на память для личного архива и для Союза художников и, опасаясь неожиданных налогов, штрафов и новых проверок, шепнул никогда не трезвеющим мужикам возле магазина парфюмерии, что внутри глиняного истукана, если его разбить, находится несколько десятков килограммов стальной первосортной арматуры.

К утру памятника В.И. Ленину на участке Матвея Ивановича Венчальникова не оказалось. А трудолюбивые следы на молодой майской траве обрывались на обочине шоссе.

Скульптор вздохнул свободно и на неделю приник к телеэкрану, где набирал обороты, кипение и бурление Первый съезд народных депутатов СССР, а бывший враг народа Бухарин удостоился пятичасового хвалебного сериала.

4. Когда на круглой московской площади скинули на асфальт величественного Железного Феликса, Матвей Иванович за обедом опечалился:

— Нехорошо это, исторически неправильно. Ладно, строй общественный меняй, но зачем же памятники ломать?!

Ещё через неделю он сходил в парикмахерскую, чтобы постричься ёжиком, потом сделал флюорографию и снял кардиограмму. Совершив, таким образом, все необходимые формальности перед новым творческим (в хорошем смысле этого слова) запоем, он сел на табуретку посреди кухни и заявил жене:

— Послушай, чего. День, ведь, как говорится, год кормит. Мне надо уйти в себя. Для народа и истории. То, что я в нынешние плодотворные месяцы не сотворю, в старости десятилетиями не наверстаешь.

Понятливая супруга всплеснула руками и нашарила в тумбочке валокардин, почуяв, что в обозримом будущем денег на новую стиральную машину не накопить и помощи по даче от благоверного не ждать. Но Матвей Иванович отнёсся к семейному бюджету весьма щадяще. Учтя былое фиаско крупных форм, он переключился на малоёмкие поясные портреты и отдельные головы на постаментах.

К властям решил больше не соваться. Осень ушла на изготовление головы Феликса Эдмундовича Дзержинского, которая оказалась неуловимо похожа и на голову Михаила Иваныча Калинина, да и почему-то на лик скандального писателя Лимонова. В сумерках по первому снегу он погрузил изваяние на санки и отвёз в городской сквер, где взгромоздил на давно пустующий кирпичный постамент от довоенной «Девушки с веслом». Новая скульптура простояла дней пять, после чего неустановленные пьяные россияне свалили её на землю и ногами закатили на край сквера к жутковатому Лущихинскому оврагу, куда и сбросили в грязь и коричневый бурьян, скрывавший нагроможденье тяжёлых острых железяк.

Узнав о происшествии, Венчальников попил водки. Немного, недели три, а затем вновь взялся за работу. Теперь он решил украшать родной город и приобщать земляков к прекрасному комплексно. К весне, когда по паркам сгребли в терриконовые кучи и сожгли прошлогоднюю листву вместе со всем зимним хламом, а стволы бодренько вымазали известью, у скульптора были готовы пять разных портретов. Места он высмотрел и приготовил заранее. Вывозил творенья на предательски скрипевшей тележке, бывшей некогда детской коляской, всю ночь. И утром город ахнул: бюсты розового цвета (запасов иной краски в заметно обветшавшем гараже не нашлось) обосновались и в сквере, и перед входом в парк культуры, и в самом парке, и непосредственно на треугольной центральной площади прямо под окнами кабинета Свирида Петровича Владимирова.

Неприятность приключилась днём. Точнее, не одна неприятность, а целая зловредная череда. Выспавшись и с удовольствием отобедав жёниным борщом (чтобы как-то обеспечить будущее семье и одержимому вдохновением безденежному ваятелю, супруга спешно продала родительский дом в деревне Лыткино), сытый Матвей Иванович отправился по точкам с ведром раствора. Он вознамерился зацементировать основания под всеми бюстами и головами, чтобы наверняка застраховаться от повторения Лущихинского овражного синдрома.

Но как раз во время работы над постаментом Иосифу Виссарионовичу на него напали четверо идущих с митинга хорошо одетых оголтелых тёток с трёхцветными флагами. Обозвали красно-коричневым, потребовали ради свободы и демократии убрать глиняного душегуба и, получив в ответ от Венчальникова проповедь о необходимости сохранения в памяти народа всей исторической правды целиком, отлупили скульптора древками знамён.

Устав бороться за демократию, но пообещав возвратиться с бульдозером, фурии оставили место схватки. Вздрюченный Матвей Иванович переместился в парк к голове Никиты Сергеевича Хрущёва. Здесь его уже поджидали несколько мордоворотов в чёрных рубахах. Внимательно изучив белобрысую внешность автора и огорчившись отсутствием в ней цыганско-еврейских черт, парни всё-таки ради профилактики умело наваляли Венчальникову по физиономии и по почкам, наказав на прощанье в тот же день убрать из общественного места ненавистный лепной портрет Егора Гайдара. Пытаясь подняться, упираясь в бордюр локтями и мельтеша каблуками по влажному газонному чернозёму, скульптор попробовал объяснить ультрапатриотам, что перед ними вовсе не Гайдар, но дыхание ещё не восстановилось и объяснения не произошло.

Нужно ли говорить о том, что Матвей Иванович, перепачканный землёй, с разбитым носом, с оторванным рукавом, отказался от просмотра и фундаментной доработки других изваяний. Но, доплетясь до центральной площади, он не мог не остановиться, чтобы передохнуть возле собственноручного, мощного, будто вырастающего из бетонных плит, торса Петра Великого.

Тут-то его и повязал ОМОН, вызванный Свиридом Петровичем. Местный руководитель культуры до глубины души был возмущён как самоуправством доморощенного скульптора, так и его упорным нежеланием дать хоть какую-нибудь взятку. Всё время экзекуции Свирид Петрович величаво провёл у широкого окна второго этажа, скрестив руки на груди и сурово наморщив широкий лоб, плавно переходящий в блестящую лысину.

5. Выйдя из больницы, Матвей Иванович предстал перед земляками посвежевшим, приободрённым. Только настороженность мелькала во взгляде чуть чаще обычного да островок несбриваемой соломенной щетины вокруг бородавки на левой щеке вдруг сделался седым.

Взяв пакет с лишней одеждой подмышку, Венчальников прогулялся по городу, но ни одного из установленных далёкой уже

весной творений на месте не обнаружил. Дома ждала жена, незамедлительно надувшаяся за то, что супруг не заметил сделанную накануне его выписки дорогую причёску с меллированием. А муж даже не выпил выставленный стопарик — он сидел, задумчиво играл желваками и профессионально разминал хлебный мякиш. Понятливая Верка оценила эту паузу не меньше, как в цену глыбы разорительно-чёрного гранита два на метр на полтора. Но в этот раз внезапно ошиблась.

Муж встал, ушёл в Вовкину комнату, долго гремел там ящиками и игрушками и вернулся за стол с пыльным, подаренным на восьмилетие сыну микроскопом. Пытаясь что-то объяснить напрягшейся жене, Матвей Иванович беззвучно поводил острым кадыком вверх-вниз, помотал в воздухе растопыренной пятернёй.

— Что, Тёма? — попыталась угадать она, сразу отмякнув и простив за проявленное невнимание к причёске.

— Ты не думай! — гортанно изрёк супруг и потряс микроскопом. — Они там возомнили все! А мы им покажем!

— О, господи, твоя воля! — заранее испугалась Вера и села.

— Их мало, а нас много! Мы добром и искусством растлим их проклятую идеологию! Я предупреждаю, грозно предупреждаю: растлим всю эту политическую мафию! Они сейчас радуются, а мы не дремлем — мы тлим и грозим!

Выговорившись, он победоносно взглянул на спутницу жизни сверху вниз, а она только и смогла пролепетать:

— Тёмочка, может, щичек поешь?..

— Потом, это потом… — Он осмотрелся в кухне. — Ты, Верка, это… Крупа есть?

— Какая крупа?

— Всякая. Рис, пшено, перловка… Давай сюда.

6. Впервые за много лет на Матвея Ивановича стали оглядываться девушки. Да и как не оглянуться, если перемещался он по городу радостно и одухотворённо, смотрел окрест приветливо и многообещающе. Особенно ярко вспыхивали его глаза, когда навстречу попадался кто-то, жующий бублик или пирожок с маком. Тогда он останавливался, провожал приятного встречного взглядом. А случись тому по пути обронить на тротуар крошку с прилипшим маковым зёрнышком, Венчальников возбуждался, лихорадочно слюнил перст и ловко подбирал мокрой подушкой пальца бесценную находку с асфальта. Ещё он очень любил наблюдать с соседней лавочки, как чопорные бабушки с внуками присаживаются отдохнуть и едят апельсины, выплёвывая косточки в травку.

Именно из такой косточки он изваял бюстик Фиделя Кастро и исхитрился подсунуть его в карман помощника секретаря республиканской партии США, приехавшего поучаствовать в массовых гуляньях по случаю годовщины ельцинской Конституции, а заодно прикупить гектаров сто-полтораста российского леса.

Вообще, теперь в перерывах между лечениями скульптор жил полнокровной жизнью. Бюстки Карла Маркса на маковых зёрнах (он так и говорил: «бюстки ваяю») Матвей Иванович подбрасывал в кабинеты руководителей СПС и «Единой России»; бюстки Чубайса на зёрнах оранжево-рыжего перца — в штаб КПРФ...

Особенно удачно выходил у него товарищ Мао на рисе и копии скульптур Зураба Церетели из пшённых зёрнышек. В скорлупе грецкого ореха вместилось всё Политбюро и весь ЦК конца 1980-х... Из конопли он ваял олигархов в полный рост и даже подбивал им подошвочки на ботиночках золотенькими гвоздиками.

В минуты отдохновения Венчальников раскрывал хромированный портсигар, где толпились все его шедевры, от Рюрика и Малюты до Березовского и Ельцина, и приникал к окулярам.

— Эх, блин, сколько вас! — бормотал Матвей Иванович. — Как микробов повысыпало!..

7. Всё было бы прекрасно, если бы не птицы.

Сначала вырвались из клетки два волнистых попугая — Ромка и Гулька, именовавшиеся в доме для краткости Рогулькой.

Эта коварная Рогулька, проявив дуалистическое единодушие, пробралась через узкую щель в сервант и склевала всех 26 бакинских комиссаров, изваянных на половинках ячменных зёрен.

Уже к вечеру того же дня террористы были обменены в зоомагазине на мешочек сырья — ценнейшего в художественном смысле канареечного семени.

Тёплым летним днём с садового стола порывом ветра сдуло Джорджа Буша. И пока Венчальников с супругой искали в песке президента, шустрый воробей стрямал пятерых пшённых правозащитников и Солженицына из четвертушки горошины.

Особенно досаждали наглые соседские куры, из-за чего Матвей Иванович возненавидел всех домашних пернатых.

И вот тогда он приобрёл упомянутую ранее винтовку.

8. Теперь по большим праздникам, например, на 1 Мая, Пятидесятницу и 7 Ноября, Венчальников выходит на площадь и,

если эти дни не совпадают со временем очередного курса излечения, устраивает на площади парад.

Он торжественно ползёт по бетонным плитам вдоль ряда скульптурных портретов и, стараясь не потерять их в траве, рапортует примерно так:

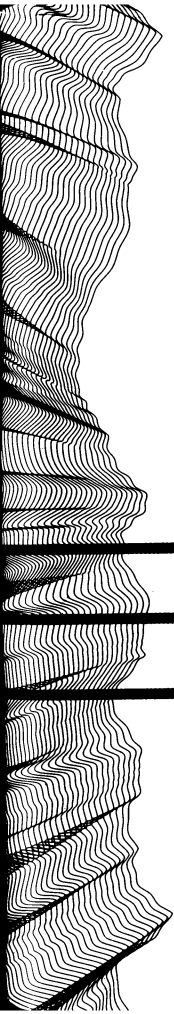
— Владимир Владимирычу Путину, гаранту и реформатору, — ура-а!..

Да и в психушке Матвею Ивановичу хорошо. Ему, как постоянному клиенту, доверили ухаживать за подсобным хозяйством — тепличками и грядками.

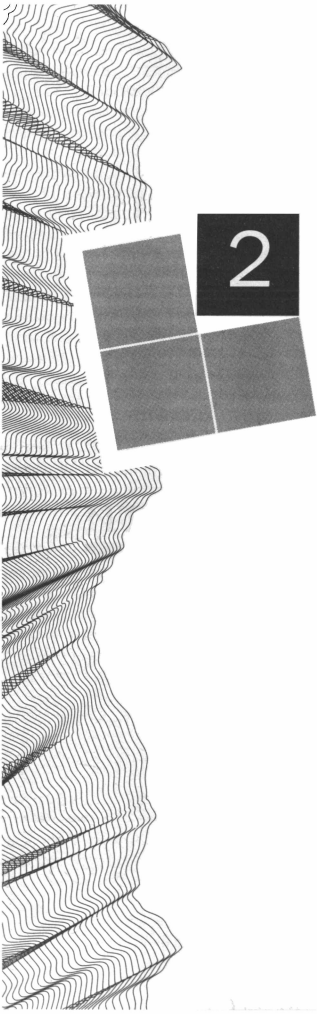
И вот там-то он уже воплотил, добился, уже вернул всю потерянную в начале 90-х годов страну, необъятную — от сточной канавки до второго столбушка в заборе. Сейчас в самом центре, в самом сердце её — возле кустов клубники, — у Венчальникова располагается аллея славы, укрытая лоскутом целлофана от ворон и воробьёв.

А вдоль границ и на окраинах — на Кольском (где лейка раньше валялась) и на Камчатке (у лопушка возле кирпичного штабеля) — наставлены грозные ракеты из спичечных головок.

Да, Венчальников вернул обороноспособность этому государству. И теперь подумывает о мировом господстве.



Личности
Идеи
Мысли


2

ОЛЬГА ЧИГИРИНСКАЯ

Проблема жанра относительно фантастики

Проблема жанра в современном литературоведении — одна из наиболее актуальных, она не разрешена с какой-либо приемлемой долей ясности до сих пор, и этот доклад — ни в коем случае не претензия расставить все точки над i, а более чем скромная попытка продвинуться к разрешению проблемы жанра на дюйм-другой на том узком участке литературного поля, который мы тут возделываем.

Критика называет фантастику «жанровой литературой». Значит ли это, что вся остальная литература нежанровая? И что это значит вообще — жанровая и нежанровая литература?

Так называемое «школьное литературоведение» учит нас, что литературный жанр — «определенный вид литературных произведений, принадлежащих одному и тому же роду». Это определение настолько расплывчато, что в его рамках жанром может оказаться решительно все что угодно.

Любители фантастики, обсуждая тему между собой, часто говорят: «фантастический жанр», «жанр фэнтези», «жанр космической оперы» и так далее. Другие решительно возражают, противопоставляя слову «жанр» слово «метод».

С одной стороны, фантастике присуще то, что определяет жанр, — по Гаспарову, например, жанр — это «исторически сложившаяся совокупность поэтических элементов разного рода, невыводимых друг из друга, но ассоциирующихся друг с другом в результате долгого сосуществования».

Есть ли в фантастике такая совокупность поэтических элементов? Есть. Пусть далеко не каждый из нас с ходу их назовет, но если кто-то, пытаясь в двух словах объяснить собеседнику, что за книга «451° по Фаренгейту» или «Обитаемый остров», скажет: «это фантастика», то собеседник наверняка его поймет и довольно точно представит себе поэтику жанра в общих чертах, хотя и затруднится определить эти черты.

Поэтические черты жанра выводимы друг из друга? Нет. Сложилось это исторически? Да. Так стало быть, фантастика — жанр?

Но как быть с тем, что этот жанр — если он жанр — переступает границы не только других жанров — романа, рассказа, повести — не только рода литературы, но и рода искусства? Если возможен фантастический фильм, фантастическая живопись, фантастическая поэзия и песня, фантастическая игра — компьютерная и на местности?

А вот если брать аристотелево определение жанра как совокупность художественных норм, то получится, что в фантастике она отсутствует. Поэтому некоторые фантасты и критики предпочитают называть фантастику художественным приемом или творческим методом. Братья Стругацкие в одном из своих интервью высказались так: «Нам представляется, что фантастика есть отрасль литературы, подчиняющаяся всем общелитературным законам и требованиям, рассматривающая общие литературные проблемы (типа: человек и мир, человек и общество и т. д.), но характеризующаяся специфическим литературным приемом — введением элемента необычного».

Может ли нас удовлетворить это определение?

Нет. И вот почему.

Является ли необычной такая вещь, как подводная лодка? То есть, конечно, не у каждого в собственности есть личный батискаф, но у всех стран, имеющих какие-то приличные выходы к морю, на вооружении состоит сколько-то подлодок. Мы все привыкли к этому, это обыденная реалия нашей жизни. Но это отнюдь не делает роман Ж. Верна «80 000 лье под водой» реалистическим. Равно как не стала реалистической, например, книга Брэдбери «451° по Фаренгейту», хотя все элементы необычного, описанные в ней, давно стали реальностью.

С другой стороны, подводная лодка, которая в степях Украины погибает в неравном воздушном бою, согласитесь, вещь куда как необычная. Тогда будет ли фантастическим текст, который задействует эту самую подводную лодку в воздушном бою как образ? Посмотрим:

Я свидетельством истинным в Духе и в Сыне
Предлагаю вам повесть мою —
Как подводная лодка в бескрайней пустыне
Погибала в воздушном бою.
И трещала броня, и дела были плохи —
Небо в дыры хлестало, как газ,
И глубинные бомбы бездарной эпохи
Разрывались все ближе от нас.

(С. Калугин. Das Boot)

Является ли эта песня фантастической? Нет. Эта лодка — сложный металогичный образ, а не просто какой-то там элемент необычного.

Так что, сводя фантастику как художественный метод к введению необычного, мы не разрешаем вопроса, а только приумножаем недоразумения. Введение элемента необычного как жанрообразующий элемент присуще некоторым литературным жанрам — сказке, притче, агиографии, аллегорической прозе, памфлету. Так, роман В. Войновича «Москва 2042» по всем формальным признакам является фантастическим, но издательские флагманы не спешат его печатать в сериях научной фантастики, и правильно: это политический памфлет. А уж введение необычного как поэтического элемента, не образующего жанровых черт, — нам трудно будет назвать род и вид литературы, который обходится без этого.

Однако если мы зададим себе вопрос: а есть ли несомненный литературный жанр, в котором введение элемента необычного является жанрообразующей чертой? Мы очень быстро ответим на этот вопрос: да, есть — это сказка, в некотором роде — старшая сестра фантастики.

Но если мы рассмотрим бытование сказки в культуре как жанра, то мы обнаружим, что этот жанр с фантастикой роднит не только введение элемента необычного. Как и фантастика, сказка пересекает границы не только разных родов литературы, но и самой литературы: есть сказочные фильмы, сказочные спектакли, картины и музыка на сказочные сюжеты. Как и фантастика, сказка, будучи отдельным жанром, порождает внутри себя поджанры — сказки о животных, волшебные сказки, бытовые, авторские, фольклорные. И все это не мешает сказке быть общепризнанным литературным жанром. Так почему же это должно мешать фантастике?

Хронотоп: попытка разрешения проблемы определения фантастического жанра

Жанр не рождается из ничего. «Выбор писателем определенного жанра, стиля или художественного направления — тоже есть выбор языка, на котором он собирается говорить с читателем. Язык этот входит в сложную иерархию художественных языков данной эпохи, данной культуры, данного народа или данного человечества (в конце концов, с необходимостью возникает и такая постановка вопроса)» (Ю. Лотман). Назовем мы фантастику жанром или методом — это выбор языка, на котором писатель говорит с читателем. Но язык — это реалия вполне определяемая и описываемая. Что отделяет язык фантастики от любого другого языка, на котором с читателем говорит человек искусства?

Я осмелюсь утверждать, что это выбор хронотопа. По Бахтину, вообще «Вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопа».

Хронотоп, если вкратце охарактеризовать его, — это художественный образ места и времени. Принятие моей гипотезы позволяет объяснить, кстати, почему фантастический жанр выходит за рамки литературы: он существует во всех видах искусства, где имеет значение хронотоп, именно потому, что хронотоп, образ места и времени, является ключевой жанрообразующей реалией. «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является время. Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен» (Бахтин).

Чем фантастический хронотоп отличается от любого другого? Тем, что фантастический хронотоп так или иначе есть такой образ места и времени, которого нет и не может быть, но описывается он при этом как такой, который при определенных условиях мог где-то существовать.

На определенном примере объяснить проще. В 1516 году вышла книга Т. Мора «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Само название острова означает: «место, которого нет». Причем этот отрицательный префикс — «у-» в греческом — не просто «нет», а «нет и быть не может».

Вместе с тем, общество и нравы Утопии описываются с максимальной реалистичностью. «Утопия» отчетливо подражает диа-

логам Платона, где описывается Атлантида, но в тексте Платона отсутствуют какие-либо маркеры, указующие на то, что Атлантида — не фантазия автора, Мор же четко обозначает Утопию как место, существующее только в воображении автора и читателя. Рискнем предположить, что именно этой книгой начался научно-фантастический жанр в литературе: Мор излагал в своей книге тот взгляд на человека и общество, какой был присущ тогдашней науке, и создал фантастической хронотоп, метод которого заключается в том, что читателю с максимальной реалистичностью описывают место, которого нет. Чем это отличается от, скажем, «Плаванья Брендана» или древних описаний земель, в которых живут фениксы и люди с песьими головами? Именно тем, что в тексте Мора наличествует четкий маркер: на самом деле такой страны нет. Именно этот маркер, явно или неявно присутствующий в тексте, отделяет фантастику от любой другой литературной фантазии.

Утопия как жанр — или как метод — приобрела большую популярность в эпоху барокко и классицизма и практически захирела в романтичном 19-м веке. Романтика была временем открытия сказки, как народной, которая питала литературу сюжетами, так и литературной. Сказка полностью вытеснила утопию из сферы литературной фантазии. Отчасти этому поспособствовали географические открытия 19-го столетия, когда с карты мира одно за другим стирались белые пятна. Утопии стало негде жить.

Но уже на изломе века, когда романтизм столкнулся с прогрессом, на волне неоромантизма возникли сразу два фантастических жанра, которые всем нам хорошо известны, но мы по старой привычке объединяем их, называя «научной фантастикой». Действительно, как и утопия, эти жанры питались непосредственно научными представлениями своего времени. Но если рассматривать не отношения жанра с наукой, а его поэтику, то мы увидим, что «научность» как таковая имеет исчезающее малое значение — главным является опять-таки хронотоп.

По аналогии с «утопией» можно дать этим жанрам названия «ухрония» (от хронос — время) и «ускэвия» (от слова скэос — вещь).

Если в утопии описывается некое условно-современное автору и читателю невозможное место, то в ухронии стержнем хронотопа делается невозможное время. В каком-то смысле ухронию можно считать подвидом утопии, в котором время становится местом. Ранние ухронии 19-го века по сути отличались от утопий только этим. Вся их содержательная часть сводилась к описанию быта и

нравов далеких потомков. Не претендуя на какую-либо художественность, видя в своих книгах прежде всего просветительскую и прогностическую ценность, авторы ухроний стали вдохновителями многих социальных преобразователей 19—20 веков.

Настоящую революцию в этом жанре произвел Герберт Уэллс со своей «Машиной времени». С одной стороны, в этой книге тоже присутствует социальное прогнозирование и просветительство, но Уэллс не ограничивается чистым описательством. При этом он не только оживляет социальный прогноз введением приключенческого сюжета и персонажа — современного читателю англичанина, глазами которого показывает нам мир — нет, он рисует будущее как художественный образ места и времени. Он создает портрет времени, в его книге хронотоп — не просто один из рабочих образов, но центральный образ повествования.

Ухрония, которая делает образ будущего — прекрасного ли, мрачного ли — центральным образом литературного произведения, утвердилась в литературе надолго и жива, как мы знаем, по сей день.

Тридцать с небольшим лет спустя другой английский писатель, Джон Рональд Руэл Толкин, и параллельно с ним американец Роберт Говард открывают еще один вид ухронии: невозможное прошлое. Толкин называет это «мифологическим периодом истории», Говард — Гиборейской эрой, но художественный образ времени в обоих случаях — это облагороженное, пропущенное сквозь призму романтического восприятия прошлое Земли с реалиями, которые пришли из средневекового мира воображаемого: колдовством, чудовищами, легендарными народами — такими, как эльфы, гномы, тролли, — и активно действующими в мире сверхъестественными сущностями: богами и демонами. Можно долго рубиться насчет того, чем является жанр фэнтези и жанр ли это, — я могу лишь предложить к рассмотрению «образ невозможного прошлого» как определяющую жанрообразующую черту.

И наконец, во второй половине 20-го века, с ее жадным интересом к поворотным моментам истории, появляется еще один вид ухронии — образ «невозможного настоящего», так называемая альтернативная история.

Как и многие отцы-основатели жанров, как тот же сэр Томас Мор, Уэллс не понимал, что именно он сделал. Он должен был совершенно искренне предполагать, что работает в третьем жанре, который тогда как раз и процветал: жанре ускэвии. Машина времени — это действительно типичный для романов конца 19-го века «ускэос», невозможная вещь.

Поэтика ускэвии зиждется на том контрасте, который образует помещение ускэоса, невозможной вещи, в отчетливо опознаваемый реалистический хронотоп. Сама природа ускэоса имеет при этом второстепенное значение — неважно, человек он, или предмет, или еще какое-то существо, неважно, является ли он продуктом технического прогресса, как «Наутилус» Жюля Верна, или имеет магическую либо мистическую природу — как старик Хоттабыч. Важно, чтобы его необычность оттенялась подчеркнутой реалистичностью хронотопа, современного писателю или скрупулезно исторически воссозданного. Смерть капитана Немо отчетливо привязывается по времени к гражданской войне в США. По гаданию Воланда можно точно определить дату событий в «Мастере и Маргарите».

Следуя Бахтину, я предпочитаю называть фантастику жанром и определять его главную жанрообразующую поэтическую черту как «невозможный» хронотоп, создаваемый тремя основными методами: утопией (невозможное место), ухронией (невозможное время) и ускэвией (невозможная вещь в подчеркнуто реальном хронотопе).

То или иное использование этих приемов порождает разные субжанры фантастики. Например, то, что мы называем «фэнтези», и то, что мы называем «космической оперой», по сути разнятся только выбором топоса: для фэнтези это — некий мир, опознаваемый как легендарное прошлое нашего мира, но реально никогда не существовавший; для космической оперы — мир, опознаваемый как некое условное будущее, полный плодов сегодняшнего технического прогресса; временная же структура в обоих случаях одинакова: это так называемое авантюрное время, описанное Бахтиным как временная структура рыцарского романа: «Время распадается на ряд отрезков-авантюр, внутри которых оно организовано абстрактно-технически, связь его с пространством также технична». Герой космической оперы и фэнтези также необычайно похож на героя рыцарского романа: «авантюрист, но авантюрист бескорыстный (...). Он по самому своему существу может жить только в этом мире чудесных случайностей и в них сохранять свое тождество. И самый "кодекс" его, которым измеряется его тождество, рассчитан именно на этот мир чудесных случайностей».

Конечно, ни один из этих субжанров не является чем-то жестко детерминированным. Методы утопии, ухронии и ускэвии могут варьироваться и сочетаться. Уэллс в своей «Машине времени» сочетал все три, причем два взял из существующей литературы, а третий разработал сам. Утопию и ухронию порой трудно разгра-

ничить, потому что в таких вещах, как «Туманность Андромеды» Ефремова, сам хронос является топосом; время — это и есть место. «Аэлита» Толстого начинается как ускэвия: этот реалистический хронотоп нам хорошо знаком по таким книгам, как «Сентиментальное путешествие» Шкловского или «Республика ШКИД» Белых и Пантелеева, и очень легко верится, что среди тифозно-голодного бардака в революционном Петрограде прошло почти незамеченным создание космического корабля, — в конце концов, Шкловский чуть не построил броневик. Но в «марсианской» части роман переходит в утопию, а там, где Аэлита излагает историю своего народа, — в ухронию. Можно сочетать «невозможное прошлое» с авантюрным временем — и это будет фэнтези; а можно выстроить «невозможное прошлое» в псевдореалистическом историческом дискурсе, это будет криптоистория. Но в любом случае автор-фантаст работает преимущественно с хронотопом. Хронотоп как образ занимает воображение читателя фантастики — в фэндоме это обычно называют «мир». «Миры братьев Стругацких», «Миры Урсулы Ле Гуин», «Мир Толкина» и так далее имеют многочисленных поклонников. Очень часто книга весьма посредственных художественных достоинств создает большой фэндом только потому, что читатели увлекаются образом нарисованного в ней мира, ее хронотопом.

Это открытие позволяет нам отделить фантастику от других литературных и внелитературных жанров, содержащих «элемент необычного» как жанрообразующую черту, от сказки, легенды, мифа.

Но необходимо провести водораздел и с другими жанрами. В начале этого очерка была упомянута книга Войновича «Москва 2042», которая по ряду признаков является фантастической, но на деле представляет собой политический памфлет. Войнович, как и все фантасты, выстраивает в романе «невозможный» хронотоп — мир несуществующей Москвы далекого будущего. Но роман, несомненно, не является фантастическим — это верхним чутьем улавливают и фэны, и издатели. Войновича или Пелевина уверенно относят к мэйнстриму, и Олег Дивов совершенно зря недоумевает по этому поводу. Критерий, по которому критики и издатели почти бессознательно проводят селекцию, настолько очевиден, что его не замечают. Чтобы яснее это различить, обратимся к истокам жанра — книге сэра Т. Мора.

Сэр Томас Мор знать не знал, что основывает новый жанр, — он думал, что сочиняет политический памфлет. Но давайте обратимся к тому, как этот памфлет построен.

Первая часть называется «Беседа, которую вел выдающийся муж Рафаил Гитлодей, о наилучшем состоянии государства, в передаче знаменитого мужа Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона». Мор начинает с абсолютно реалистического описания своего путешествия в Брюгге и встречи там с неким Петром Эгидием из Антверпена. Очень дотошно и обстоятельно Мор описывает во всех деталях, как Эгидий знакомит его с Гитлодеем в храме Девы Марии при большом стечении народа и как они отправляются в сад при доме Мора, где и начинают свои беседы. Начинают они с того, что долго и нудно обсуждают порядки в Англии и других странах Европы, в которых Мор, будучи дипломатом, прекрасно разбирался. Мору все это нужно для того, чтобы композиционно уравновесить разумность государственного устройства и законов Утопии безумием устройства и законов Европы, но нас сейчас интересует не это. Я хочу сосредоточить ваше внимание на том, что первая часть книги Мора начисто лишена какой бы то ни было иносказательности. Единственным элементом художественности в ней являются вымышленные собеседники Мора. При этом даже выдуманные образы являются автологичными.

Тут, кажется, нужно сделать техническое отступление на тему, что такое автология и металогия. Автология (от греч. авто — сам и логос — слово; букв.— «самословие») — употребление в поэтическом произведении слов и выражений в их прямом, непосредственном значении. Художественная автология противостоит металогической, или фигуральной, речи своей реалистической точностью.

Металогия (от греч. мета — через, после, за, логос — слово, речь) — напротив, употребление слов, а также образов и символов в их переносном значении[1].

Образы, созданные Мором, и в первой, и во второй части книги равны самим себе. Утопия, ее столичный город Амаурот, ее правители и жители, законы и обычаи не символизируют и не означают ничего сверх себя самих — это голая иллюстрация к представлениям Томаса Мора о том, какое государственное устройство является наилучшим. Даже символика имен и названий у Мора совершенно прозрачна: «Утопия» — «место, которого нет», «Амаврот» — «непознаваемый», «Гитлодей» — «знаток пустых бесед», «Анидр» —

[1] Очень яркой иллюстрацией к понятиям автологичности и металогичности является анекдот о психоаналитике и его дочери: «Папа, а что означает мой сон, в котором я беру в рот и курю огромную сигару? — Ну, знаешь, доченька... бывают ведь и просто сигары». Так вот, когда в книге образ является «просто сигарой» — он автологичен. А когда эта сигара означает что-то ещё — он, соответственно, металогичен.

«безводная», сиречь несуществующая, река. Все топонимы, выдуманные Мором, просто указывают на то, что таких мест, людей и народов нет и верить в их существование глупо.

Сравним это с другими политическими памфлетами, которые написаны по законам утопии, — например, памфлетами Дж. Свифта. Со школьных лет нам известно, что соперничество между Лилипутией и Блефуску намекает на вражду Англии и Франции, что остроконечники и тупоконечники — это католики и протестанты, что Лангден — это анаграмма слова England, то есть Англия. Если топонимы и этнонимы Мора указывают на то, что описываемого им не существует в природе, то топонимы и этнонимы Свифта служат указателями на страны, личности и обстоятельства, реально существующие. Иными словами, памфлеты Свифта металогичны.

Вот здесь, осмелимся утверждать, и проходит водораздел между тем, что называется фантастикой, и тем, что называется «большой литературой», или «мэйнстримом». Сочетание, которое само по себе кажется достаточно невозможным: автология и «невозможный» хронотоп сотворили жанр фантастики, можно сказать, на ровном месте. Специфическая поэтика жанра заключена именно в этом: в повествовании о вещах несуществующих и невозможных с той же простой и внушающей доверие миной, с какой герой Мора по имени «знаток пустых вещей», поболтав о реальных политических делах Европы, нечувствительно переходит к делам несуществующего острова с его непознаваемой столицей, стоящей на берегах безводной реки.

Несомненно, многие фантастические тексты созданы при помощи автологии как художественного приема, но являются по сути металогичными. Однако наивное восприятие не отличает художественную автологию от наивной, непроизвольной. Фантастический текст должен включать в себя возможность наивного прочтения. Если текст ее не включает — он с неизбежностью выпадает из обоймы жанра, как то на наших глазах случилось с текстами В. Пелевина и М. Веллера. Их тексты настолько кричаще металогичны, что за фантастику они сходили разве что в советские времена, когда все необычное в литературе могло спастись только в нашем гетто. Как только исчезла необходимость прятаться в гетто — жанр и эти писатели взаимно друг друга отторгли[2].

---

[2] Чтобы проверить свою теорию, я попросила своего друга — литературоведа Елену Михайлик, человека куда более начитанного, — припомнить текст, который всеми опознается как отчетливо фантастический, но напрочь исключает наивное, автологичное прочтение. Елена сходу назвала мне рассказ «Терминус» Станислава Лема — тем самым блестяще теорию подтвердив: «Терминуса» я прочитала в возрасте 11-12 лет абсолютно наивными глазами как полностью автологичный текст. Сама Елена, услышав об этом, изумилась крайне — с её точки зрения, такой подход разрушает в «Терминусе» внутреннюю логику сюжета. Профессиональная деформация мышления филолога: дело в том, что наивное прочтение не ищет в сюжете никакой логики, кроме самой примитивной, событийной.

Это произошло и с фантастикой Булгакова, и с орловским «Альтистом Даниловым», и с Честертоном, Кобо Абэ, Воннегутом, Аксеновым и многими другими.

Принятие автологии как второй жанрообразующей поэтической черты для фантастики позволяет наконец точно ответить на вопрос: почему фантастика пребывает в гетто «жанровой литературы?

Во-первых, литературная критика со времен Союза пребывает в ужасном состоянии. Это самая загнанная область литературоведения, и количество непрофессионалов в ней превышает все допустимые пределы. Критиков, подвизающихся в области фантастики и способных отличить художественную автологию от обычной, можно пересчитать по пальцам. Вместе с тем, среди критиков, особенно в эпоху постмодерна, живо убеждение, что заявленная, кричащая металогичность есть неизбежный и обязательный признак художественности. Она может быть совершенно пустой величиной, как в романах В. Сорокина, но сама по себе заявка на металогичность текста играет роль своеобразного пропуска, по которому то или иное произведение проходит в так называемую «большую литературу». Текст, который не претендует на металогичность с первых же строк, даже не предлагается к серьезному критическому рассмотрению.

Но если художественная автологичность является жанрообразующей чертой, то фантастика не может отказаться от нее и не перестать существовать как жанр. Таким образом, фантастический цех исторически обречен на ношение «жанрового» клейма, как была в свое время обречена комедия; и так будет до тех пор, пока не подвергнется пересмотру весь литературно-критический метод как таковой.

Эта ситуация усугубляется тем, что автологическая поэтика привлекает множество людей, просто неспособных создавать металогичные тексты, — так верлибр привлекает тех, кто неспособен рифмовать. Множество фантастических произведений — дети духовной нищеты и умственной лени своих авторов, для которых автология не художественный прием, а всего лишь естественный прозаизм графомана. Такие авторы легко находят своих читателей: жанровые особенности фантастики притягивают людей, не умеющих прочитывать текст иначе как по верхам. Некоторая замкнутость нашего гетто имеет для тех и других свои положительные стороны: одни без труда и в больших количествах находят продукт по своему вкусу, другие — потребителя. Ведь сами по себе методы утопии, ухронии и ускэвии легко воспроизводимы. Они как коле-

со: тяжело изобрести, но просто повторить, раз увидев. Ситуация в фантастике отчасти похожа на ситуацию с классическими жанрами японской поэзии: поэтические жанрообразующие черты настолько легко воспроизводимы, а круг тем настолько ограничен, что буквально провоцирует создание неисчислимого множества заурядных текстов — и вместе с тем является серьезным вызовом подлинному мастерству, которое постоянно рискует остаться нераспознанным.

Подводя итог этим размышлениям, хотелось бы найти что-то утешительное во всей этой ситуации. Поразмыслив, я нахожу утешительным сам факт сугубой хронотопичности жанра. Исследование хронотопа является одним из перспективных направлений в современном литературоведении, а это значит — однажды за исследование современной фантастики возьмутся люди, которых голым жанром нельзя будет напугать.

Очень яркой иллюстрацией к понятиям автологичности и металогичности является анекдот о психоаналитике и его дочери: «Папа, а что означает мой сон, в котором я беру в рот и курю огромную сигару? — Ну, знаешь, доченька... бывают ведь и просто сигары». Так вот, когда в книге образ является «просто сигарой» — он автологичен. А когда эта сигара означает что-то ещё — он, соответственно, металогичен.

Чтобы проверить свою теорию, я попросила своего друга — литературоведа Елену Михайлик, человека куда более начитанного, — припомнить текст, который всеми опознается как отчетливо фантастический, но напрочь исключает наивное, автологичное прочтение. Елена сходу назвала мне рассказ «Терминус» Станислава Лема — тем самым блестяще теорию подтвердив: «Терминуса» я прочитала в возрасте 11-12 лет абсолютно наивными глазами как полностью автологичный текст. Сама Елена, услышав об этом, изумилась крайне — с её точки зрения, такой подход разрушает в «Термнусе» внутреннюю логику сюжета. Профессиональная деформация мышления филолога: дело в том, что наивное прочтение не ищет в сюжете никакой логики, кроме самой примитивной, событийной.

ЯРОСЛАВ ВЕРОВ
ИГОРЬ МИНАКОВ

Жертвоприношение

Как только не называли научную фантастику: литературой крылатой мечты, призванной звать молодёжь во ВТУЗы, — и чтением для второгодников; беллетристикой научного предвидения — и Золушкой на балу серьёзной словесности; научным вымыслом — и опережающим реализмом. Определений было найдено столько, что каждый теперь вправе выбрать себе любое понравившееся. Мы не станем вводить новое. Мы не будем даже говорить о том, что такое научная фантастика в нашем понимании, а интересующихся отсылаем к нашей же статье «НФ — «золотое сечение» фантастики». Мы хотим рассказать о том, *что* произошло с научной фантастикой на русскоязычном литературном пространстве-времени и даже о том, *как* это произошло. Разумеется, все нижеизложенное всего лишь наша гипотеза, и верность принципу «бритвы Оккама» не позволила бы нам умножать сущности, не возникни острая необходимость. Необходимость говорить всерьёз о том, что нас волнует. И мы надеемся, что не только нас одних.

На дворе конец пятидесятых годов прошлого века, дует холодный ветер с Невы, уютно потрескивают в печи дрова, а старинная пишущая машинка «Ундервуд» с дивно отрегулированными клавишами, выстукивает строчки будущих глав одной из самых популярных книг одного из самых популярных писателей столетия. Писатель этот ещё молод,

работается ему удивительно легко, он всё ещё мыслит себя *научным фантастом*, и кажется, что так будет всегда. Но так ему только кажется! Ведь современная научная фантастика невыносимо скучна, она страдает дурной дидактичностью, казённым ура-патриотизмом, «фанфарным безмолвием и многомудрым безмыслием», а хочется уже чего-то другого, чего-то странного! И это другое вскоре находится.

«Наши произведения должны быть занимательными... Не бояться лёгкой сентиментальности в одном месте, грубого авантюризма в другом, небольшого философствования в третьем, любовного бесстыдства в четвёртом и т. д., такая смесь жанров должна придать вещи ещё больший привкус необычайного. А разве необычайное — не наша основная тема?..» Законный вопрос! И в дальнейшем мы постараемся показать, что ответ на него не так уж и прост, но сейчас мы не об этом. А о том, что найденый нашим героем метод и впрямь весьма соблазнителен. Долой классическое триединство времени-места-действия! Даёшь смешение жанров! Уж не знаем, догадывался ли тогда наш герой, что открыл секрет Полишинеля, что на Западе уже многие фантасты работают в этом направлении, не суть дела. Для отечественной фантастики тех лет, получившей название «фантастики ближнего прицела», такой подход был, без сомнения, нов и свеж и давал массу возможностей.

И талантливое перо братьев Стругацких, а речь идёт, разумеется, именно об этом, едином в двух лицах писателе, использовало новые возможности на всю катушку! Десятки ярких, остроумных книг, сотни персонажей, которые стали «родственниками и знакомыми» читателей нескольких поколений, фразы, ушедшие в народ, культовые кинофильмы, снятые по мотивам, а потом и компьютерные игры, завоевавшие сердца неисчислимого множества поклонников этого вида досуга. Мы уж не говорим о тех, кто вслед за Стругацкими пошёл в фантастику, ибо сами принадлежим к их числу. Победа самого передового метода отражения действительности? Безусловно! Поражение так называемой «фантастики ближнего прицела»? Не просто поражение, а полная и безоговорочная капитуляция!

Однако, как водится, вместе с грязной водой выплеснули и ребёнка! На первый взгляд, сокрушительному разгрому подверглись *«специалисты-недоучки, до изумления ограниченные узкой полоской технических подробностей основной темы...»*,

но уж кем-кем, а недоучками тогдашних фантастов не назовёшь. Ведь речь идёт об авторах научно-фантастических книг, увидевших свет в 1957 году. Перечислим названия: «Астронавты», «Аргонавты Вселенной», «Прохождение Немезиды», «Планетный гость», «Звёздный человек». Лем, Владко, Гуревич, Мартынов, Полещук — очень разные писатели с очень разной судьбой. Кто-то стал лишь фактом истории литературы, кто-то писателем с мировым именем. Но, может быть, другие фантасты тех лет были «специалистами-недоучками»? Так нет же! Например, Александр Казанцев окончил Томский технологический институт, работал во ВНИИ электромеханики, Николай Плавильщиков был энтомологом, крупнейшим в мире специалистом по систематике и фаунистике жуков-усачей, Владимир Обручев — известным палеонтологом, Иван Ефремов — одним из первооткрывателей пермской фауны. Ну, тогда может быть, они были совершенно беспомощны, как писатели?

«Яркие кружочки пестрели в траве и на листьях пальм: солнечные лучи пробивались сквозь вырезные листья фиговых деревьев. Кусты были покрыты жёлтыми цветами. [...] Дул ветерок, шевелились листья, и золотые кружки прыгали по траве, а жёлтые цветы качались. [...] Он топтал разноцветные листья бегоний и сбивал их плоские розовые цветы. Царапал руки о колючие кусты. Путался в лианах. Наталкивался на деревья и сшибал со стволов целые корзины орхидей — фиолетово-зелёных, пурпуровых и ярко-белых». Это фрагменты из повести Н. Плавильщикова «Недостающее звено», впервые увидевшей свет в январе 1945 года. Может быть, сказано довольно безыскусно, но отнюдь не беспомощно в литературном смысле.

Разумеется, среди адептов «ближнего прицела» встречались и «недоучки», и «беспомощные», но, тем не менее, при ближайшем рассмотрении целостная картина беспросветно серой, унылой советской литературной фантастики «доструга-цковского» периода уже не выглядит столь безнадёжной. Интересующихся подробностями отсылаем к серии очерков Антона Первушина «10 мифов о советской фантастике», мы же возвращаемся к нашим героям. Итак, рецепт найден и апробирован. Сначала робко, а затем все смелее и смелее Стругацкие отходят от обязательного требования наукообразности.

Настоящий перелом происходит в 1962-м, когда после кратковременного, но тяжёлого творческого кризиса,

случившегося с писателями в процессе работы над повестью «Попытка к бегству», они вдруг *«ощутили всю сладость и волшебную силу ОТКАЗА ОТ ОБЪЯСНЕНИЙ. Любых объяснений — научно-фантастических, логических, чисто научных и даже псевдонаучных...»*. Речь идёт, разумеется, о знаменитом сюжетном кульбите, когда один из персонажей ПКБ, Саул Репнин, необъяснимым и необъяснённым образом совершает два путешествия во времени, «туда и обратно».

Рискнём предположить, что гораздо увлекательнее было бы посмотреть, как поведёт себя прошедший ад войны и концлагеря Саул в стерильном и безобидном мире будущего. Так ли уж ему там всё понравилось бы? Праздное воображение подсказывает нам, что подобный эксперимент Стругацкие могли бы провести в рассказе «Дорожный знак», который на веки вечные утвердился в качестве пролога к повести «Трудно быть богом». Шагают, значит, ребятки по анизотропному шоссе, а навстречу им выходит дурно пахнущий оборванец со «шмайсером». А у ребяток тоже ствол имеется и парочка арбалетов в придачу... Но это в сторону, сейчас нам гораздо интереснее досмотреть другой фильм из альтернативной истории литературы (в отличие от альтернативной истории вообще, не нарушающей никаких законов природы), который рассказывает о повести «Попытка к бегству».

Приём сработал, и Стругацкие сделали для себя ещё один важный вывод: *«Можно нарушать любые законы — литературные и реальной жизни, отказываться от всякой логики и разрушать достоверность, действовать наперекор всему и всем мыслимым-немыслимым предписаниям и правилам, если только в результате достигается главная цель: в читателе вспыхивает готовность к сопереживанию — и чем сильнее эта готовность, тем большие нарушения и разрушения позволяется совершать автору»*. Казалось, отныне писатели начнут сеять разрушение и хаос в стройных рядах литературных и человеческих законов, гнушаться достоверностью и логикой, не говоря уже о научности, но в других произведениях Стругацкие не спешили расстаться с этим тяжким наследием прошлого. И правильно делали, потому что подобные кульбиты никому нельзя совершать безнаказанно.

Попробуйте мысленно удалить беглеца Саула из повествования, и вы увидите, что ничего страшного не произойдёт. Останется увлекательная повесть о приключениях двух земных парней на далёкой планете. И смысла в ней меньше

не станет, а трагизма, наоборот, прибавится. Ведь ничего не понимающих в феодальных отношениях землян полуденного XXII столетия, скорее всего, перебили бы, как кроликов. Но, по крайней мере, у повести был бы финал, которого в осуществившемся варианте почти нет. Даже открытого. Ну, полетали, ну, поистерили, ну, постреляли. Таинственный незнакомец со скорчером, запугав парней своей первобытной жестокостью, опять сбежал, отделавшись невнятной запиской, которую понимай, как хочешь. И, кстати, какое такое «своё» дело собирался доделывать советский офицер Реппин в советском же концлагере? Как бы там ни было, повесть не удалась. Не исключено, что сами Стругацкие это тоже почувствовали: не напрасно же они дали имя Антон персонажу другой повести, вышедшей годом позже? Историк должен был доделать то, что не удалось звёздолётчику, — стать настоящим героем и поквитаться с тёмным прошлым.

Выходит, приём «отказа от объяснений» отнюдь не идеален? Вынимая из сюжетообразующей фабулы стержень логического хотя бы обоснования, авторы рискуют превратить своё произведение в худшем случае в туманно-философское чтиво, о смысле и художественной цели которого можно только догадываться, а в лучшем — в притчу! Разумеется, мы не против притчи, как литературной разновидности, но при всей философической глубине она имеет существенный недостаток — одномерность. Притча призвана ярко проиллюстрировать лишь одну, хотя и весьма важную мысль. Вспомните, что поведал своим ученикам Христос о Блудном сыне и зачем он это сделал! Но произошло ли подобное превращение в случае с «Попыткой к бегству»? На наш взгляд, — нет! Скорее, повесть обратилась в плакат: «Что ты сделал для грядущего торжества коммунизма?!».

К сожалению, нечто похожее случилось ещё с несколькими произведениями Стругацких, и, как ни странно, — с «Улиткой на склоне». Но прежде, чем начинать разговор об этой, во многих смыслах, центральной вещи в творческой эволюции АБС, приведём доказательство от противного. Повесть «За миллиард лет до конца света», увидевшая свет в 1974-м, по мнению многих, и мы с этим мнением согласны, — лучшее произведение братьев Стругацких. В немалой степени своим успехом оно обязано концепции Гомеостатического Мироздания — некого закона природы, ограничивающего познавательную экспансию Разума. Проведём тот же эксперимент,

что и с «Попыткой...» — вынем ГМ из фабулы ЗМЛДКС и увидим, что последствия — катастрофические! Повесть практически исчезла. Замена же Гомеостатического Мироздания на, скажем, Контору Глубокого Бурения превратит эту незаурядную вещь в очередной опус об ужасах тоталитаризма, т. е. низведёт вечное до сиюминутного, вселенское до едва ли не бытового. Выходит, что научно-фантастическое допущение обладает вполне самостоятельной литературной ценностью, а именно помогает авторам задавать себе и читателю вопросы онтологического масштаба, не утрачивая при этом ни художественности, ни увлекательности, ни внутренней цельности.

Так что же, собственно, произошло с «Улиткой на склоне»? Известно, что в первоначальном своем воплощении история о тихо ползущей улитке была научно-фантастической повестью из «полуденного» цикла. Повесть называлась «Беспокойство» и была опубликована только в конце 80-х годов. В этом варианте на краю обрыва сидит не Перец, а Горбовский. И дело происходит не в неком абстрактном мире, а на планете Пандора, в одном из самых загадочных фантастических миров, созданных Стругацкими. В отличие от Переца, Горбовский не сдишком рвётся в Лес — чего он там не видел в этих пандорианских джунглях?! Для Горбовского Лес — это не столько символ непредсказуемого будущего, сколько источник непредставимой опасности для слишком заигравшегося с природой человечества. Да, именно так: не символ, а источник! За символом «душка Леонид Андреевич» не попёрся бы за тридевять Земель. Лес на Пандоре, в представлении Горбовского, это то место, где «хомо луденс» (хотя сам термин появляется гораздо позже — в романе «Волны гасят ветер») рискует свернуть себе шею. *«Разве вы не видите, что все они стали как дети? Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют?»*

В морально-этическом и идеологическом смысле, разумеется, ибо обитателям Леса не до игр. В повести «Беспокойство» не сказано, откуда на первобытной Пандоре взялись вполне антропоморфные обитатели Леса, но при небольшом усилии воображения нетрудно «достроить ситуацию». Лесовики и произошедшие от них Амазонки — это колонисты с Земли. Какие-нибудь ревнители слияния с дикой природой, нашедшие на Пандоре, как им казалось, идеальное убежище от предельно технологизированного мира Полудня.

Отказавшись от «мёртвого железа», колонисты создали биологическую цивилизацию, примером для которой могла послужить цивилизация леонидян. Но, как водится, гармоничного слияния с природой не получилось. Вместо этого произошел раскол пандорианского человечества на две группы: вымирающих Лесовиков и воинственно вытесняющих их Амазонок. Если принять эту реконструкцию, то сразу становится понятна причина беспокойства Леонида Андреевича Горбовского: в трагедии колонистов он вполне мог бы усмотреть грядущий распад человечества Земли на две самодостаточные расы — людей и люденов.

Разумеется, всё это лишь наши домыслы, ещё один артефакт из альтернативной истории литературы. Важно, что по написании «Беспокойства» Стругацкие неожиданно возымели к главам о Горбовском стойкое отвращение. Вот как это описал в своей замечательной книге «Комментарии к пройденному» Б. Н. Стругацкий:

«Но тут нас ждал сюрприз: поставивши последнюю точку, мы обнаружили, что написали нечто, никуда не годное, не лезущее ни в какие ворота. Мы вдруг поняли, что нам нет абсолютно никакого дела до нашего Горбовского. Причем здесь Горбовский? Причем здесь светлое будущее с его проблемами, которые мы же сами и изобрели?»

И Стругацкие решили вернуть блудное литературное дитя в лоно проблем современных путем ампутации уже готовой вещи. Своими собственными руками они «эвакуировали» главы о Горбовском, произведя своего рода символическое жертвоприношение фантастики научной на алтарь фантастики как приёма, или, вернее, на алтарь Большой Литературы!

В результате родился литературный гибрид, известный под названием «Улитка на склоне». Постараемся объяснить своё непочтительное отношение к всеми признанному шедевру. Изъяв главы о Горбовском, АБС создали им на замену вполне кафкианское повествование о неком Управлении по делам Леса. Управление призвано хоть как-то упорядочить Лес — дикое и ни с чем несообразное явление, а идеале — искоренить его. Задача явно непосильная для сотрудников Управления, и поэтому вместо реального дела они проводят бессмысленные совещания и учения, устраивают перестановки, как мебельные, так и кадровые. Абсурд громоздится на абсурд, и конца этому не видно. По сравнению с нарочитой условностью декорации Управления декорация Леса

выглядит пугающе реалистичной. И при чтении остро понимаешь, что главный конфликт повести происходит именно в «лесных» главах. Ведь стремление Кандида узнать правду о происходящем в Лесу вызвано желанием защитить лесовиков, давших ему кров и жену, а не удовлетворением любознательности, не утолением тоски по пониманию, как в случае Переца. Выживание — это серьёзно.

Может быть, поэтому главы о Лесе так легко отделяются от глав об Управлении? Будучи поначалу опубликованными раздельно, они и воспринимались читателем как разные произведения. Рискнём предположить, что это и есть разные произведения! Почти такие же разные, как авторским произволом слитые в одну книгу «Хромая судьба» и «Гадкие лебеди». Иными словами, впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, то бишь научную фантастику (главы о Лесе) и «кафкианский бред» (главы об Управлении) не получилось. Не удивительно, что читатель не понял вроде бы прозрачной символики УНС: Лес — будущее, глубоко чуждое настоящему; Управление — настоящее, глубоко чуждое будущему. Но виноват ли в этом только читатель?

Однако дело было сделано. Скандальная история, последовавшая за опубликованием «управленческой» части в сибирском журнале «Байкал», в глазах наиболее продвинутой советской читательской общественности, наловчившейся вылавливать подтекст даже там, где его нет, выглядела как лишнее доказательство острой злободневности «Улитки на склоне». АБС добились своего: научно-фантастическое повествование о проблемах наших потомков «Беспокойство» превратилось в «Улитку на склоне», в памфлет о проблемах современного общества. Браво! И сегодня, когда нам по большому счёту уже нет никакого дела до бюрократических игрищ советских чиновников, следует признать, что актуальность «Улитка» не утратила по-прежнему. Даже более того: УНС сегодня злободневна как никогда! Дичающие крестьяне в селах, а в городах сплошные Домарощинеры пополам с Тузиками... Но почему-то становится жалко несостоявшегося шедевра научной фантастики, каким она могла бы стать, не соверши авторы вышеупомянутого жертвоприношения. Нам видится, что из баснословного творческого кризиса был и другой выход. Главы о Горбовском можно было не ампутировать, а переосмыслить, усилив научно-фантастическое допущение, например, введением в повествование упоминания о земных колонистах — этаких фловерах XXII века!

Попробуем теперь разобраться со знаменитым лозунгом АБС «Главное — на Земле!». На первый взгляд, тут и разбираться не с чем. Ведь повсюду вокруг нас, куда ни плюнь, творятся несправедливости, сильные обижают слабых, богатые становятся ещё богаче, а бедные — ещё беднее. Развитые страны грабят страны развивающиеся, а те платят им террором. Алкоголизм, наркомания, детская преступность, работорговля, экологические катаклизмы, духовная деградация. Ну, и так далее. Надо быть на редкость чёрствым человеком, чтобы в такой обстановке писать о Космосе, иных цивилизациях и далёком будущем. Стругацкие чёрствыми людьми не были. Они страдали всеми страданиями мира и болели всеми его болями. Мы нисколечко не иронизируем, мы с огромным уважением относимся к сделанному нашими любимыми писателями выбору; мы задаём вопрос: только ли этическими соображениями руководствовались они, когда делали этот выбор? Не было ли тут причин и чисто литературных? Разумеется, были! Ведь уже к середине 60-х годов фантасты и в Союзе, и главным образом за рубежом, исчерпали большую часть космических тем. Изучение и освоение планет Солнечной системы, межзвёздные экспедиции, «парадокс близнецов», контакты с внеземным разумом в своё время, так или иначе, интересовали Стругацких. И они внесли свою лепту, сгенерировав несколько впечатляющих идеобразов. Достаточно назвать Странников, голованов, тагорян энд леонидян, Монокосм, Зону Посещения и т.д. Когда же вслед за серьёзными писателями, снявшими самые сливки, за дело принялись «акулы пера», превратившие Космос в арену бесконечных сражений, шпионских игр и закулисных интриг, Стругацким оказалось с ними не по пути.

Ага, воскликнет здесь недоброжелательный читатель, мысленно потирая руки. Вот сейчас, сейчас авторы начнут развивать набившую оскомину тему: «Стругацкие — могильщики отечественной НФ». Разочаруем скептиков — ничуть.

Так в чём же дело, почему совершён поворот, к чему жертвоприношение? Здесь хочется привести цитату из статьи Марка Амусина «Стругацкие и принцип неопределённости», разъясняющую суть дела:

«На долю Стругацких выпала [...] особая функция. Они, словно чуткий, остронаправленный колебательный контур, улавливали легчайшие общественно-культурные волны, сигналы, зарождавшиеся в духовном эфире, настраивались в

резонанс, усиливали эти колебания, "возмущения" и преобразовывали их [...] Но одним лишь откликом на общественные ожидания Стругацкие не ограничивались. Они преображали смутное беспокойство, неудовлетворенность общества в некие полуфилософские концепты и формулы, достаточно простые, внятные и все же возвышавшиеся над уровнем обыденного сознания. В сущности, Стругацкие становились родовспомогателями советского общественно-культурного дискурса».

Вероятно, этим своим уникальным чутьём братья уловили тончайшие сдвиги в общественном настроении в сторону разочарования в науке, которая так и не сделала людей счастливыми, не подарила небывалых чудес (хотя на самом деле — подарила). Ощутили то, что прозвучало у них (гораздо позже) уже вполне осмысленно: *«НТП более не является источником чуда»*. Есть подозрение, что ещё в период оттепели они предчувствовали приближение «эпохи застоя».

А кстати, что произошло с НФ в «период застоя»? Очень нехорошая штука произошла. Возникло и расплодилось явление, метко названное В. Ревичем «нуль-литературой». Огромный корпус текстов, где ни наука, ни даже фантастика не ночевали, при этом рядившихся именно под НФ. Редкие исключения не в счёт. Из действительно прозвучавших НФ-текстов того времени вспоминается лишь «Лунная Радуга» Сергея Павлова. Возможно, этому способствовал более чем миллионный тираж «Роман-газеты», на страницах которой книга, до того выходившая в периферийном издательстве, была переиздана. Заметим лишь, что даже в ситуации, когда общественный дискурс был уже необозримо далеко смещён со споров между физиками и лириками в сторону тупого потребления, мещанства, «вещизма» и социальной апатии, талантливо написанный НФ-роман, будучи широко выведен даже на такую аудиторию, способен эту аудиторию всколыхнуть.

В восьмидесятые же выросло поколение социальных фантастов, т. н. «четвёртая волна». Оставим за скобками возникшую в это время дихотомию «фантастика или большая литература». Какое ещё поколение должно было вырасти в эпоху социальных перемен и катаклизмов? Тут уж вовсе не до какой-то там научной фантастики.

Но вернёмся к Стругацким. Они — после жертвоприношения — уже никогда не обратятся к НФ. Все последующие тексты, даже если и обладающие формальными признаками

НФ, несли в себе всё больше социальной и, если можно так выразиться, притчевой составляющей. Как притчу возможно прочесть и помянутый «За миллиард лет...», и «Пикник на обочине». «Град обреченный» — уже сугубая притча. И так, отзываясь на проявляющиеся в обществе настроения и тенденции, авторы доходят и до сугубой мистики в «Хромой судьбе» и, особенно, в последней крупной вещи — «Отягощённые злом». Какую популярность обрела мистика в девяностые, мы помним. Братья и тут *ощутили и предвосхитили.*

И лишь в девяностые (а не раньше) Борис Натанович Стругацкий фактически отказал научной фантастике в литературном будущем: *«Тюрин никак не поймет, или не хочет понимать, или ему не нравится понимать, что время научной фантастики кончилось... Ему все кажется, что в научно-фантастических идеях содержится нечто существенное и важное. Нет там ничего»*. На самом деле мэтр всего лишь констатировал сложившееся к тому моменту состояние дел в русскоязычной фантастике.

Мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса.

Потому что настал новый момент.

Россия отчаянно нуждается в научно-технической модернизации, в прорывных технологиях, позволяющих сократить, а затем и уничтожить технологический разрыв с Западом. Развитие — или нас сомнут! Позвольте, но ведь ровно те же самые задачи ставились и решались в 30—50-е годы века прошлого...

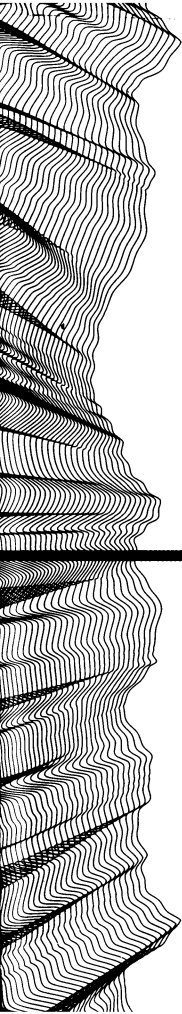
А значит, нам придётся возрождать НФ, хотим мы этого или нет. Разумеется, на новом витке спирали. Разумеется, это должна быть *иная* НФ. Но ведь и мы находимся в гораздо более выгодном положении, нежели Беляев, Ларри или Ефремов. Ивану Антоновичу приходилось буквально «чейндж» вести с англо-американскими авторами, выменивая свои книги и книги тех авторов, коих он полагал талантливыми (прежде всего, кстати, Стругацких) на тексты Андерсона, Кларка и прочих... Нам же доступен весь «банк данных» западной фантастики, которая, заметим, продолжала и продолжает генерировать значимые НФ-тексты. Мы владеем гораздо более мощным арсеналом выразительных средств и художественных приёмов, нежели наши предшественники. Мы знаем, что такое «Большая Литература» и с чем её едят. Нам и карты в руки.

Время жертвоприношений прошло.

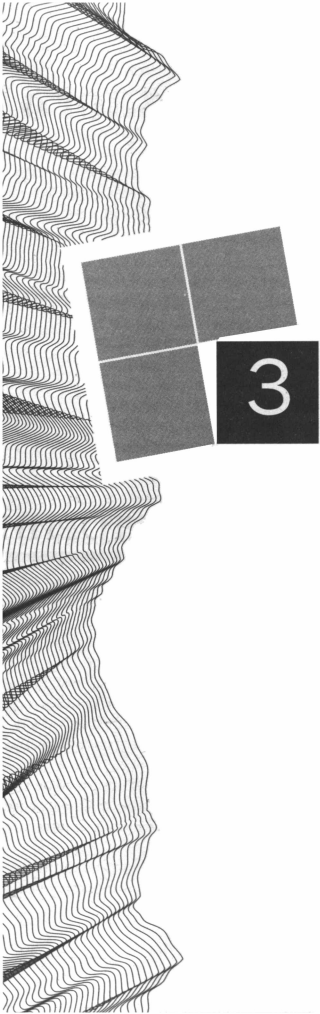
И не следует забывать, что, по меткому выражению П. Амнуэля, *«фантастика — не метод. Она глубже и шире. Генрих Альтов в свое время говорил, что если реалистическая литература — это человековедение, то настоящая фантастика — это мироведение. Цель реалистической литературы — человек. Цель литературы фантастической — мир, включающий человека в качестве составной части»*.

Лучше и не скажешь.

Авторы выражают признательность Светлане Бондаренко за указание на ряд ошибок и фактологических неточностей.



Информаторий


3

Конкурс фантастического рассказа

Организаторы
Фестиваля фэнтези и фантастики,
который состоится
27-30 августа 2009 г.
в солнечном городе Благоевград, Болгария,

объявляют
КОНКУРС ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА
по свободной теме

Рассказы принимаются до 23:00 ч. 17 апреля 2009 г. по адресу:
fantastikaff@abv.bg.

Принимаются рассказы на болгарском, английском, испанском, польском и русском языках объемом до 30 000 знаков.

Жюри не намерено оценивать рассказы антигуманного или вызывающего отвращение содержания.

Все полученные рассказы будут опубликованы на сайте Фестиваля 20 августа.

Результаты конкурса будут объявлены 29 августа 2009 года на специальной церемонии в рамках Фестиваля.

Отбор рассказов проводится в два этапа. На первом этапе экспертное жюри выберет двадцать лучших произведений.

Они войдут в сборник, который планируется выпустить до начала Фестиваля. За рассказы, опубликованные в сборнике, будет выплачен гонорар.

Эти двадцать рассказов будут поставлены на повторное голосование. Для большей объективности присужденные каждым отдельным членом жюри оценки будут обнародованы в виде таблицы на сайте Фестиваля (30.08.2009 г.).

Три рассказа, набравшие наибольшее количество очков, получат, соответственно, Первую, Вторую и Третью премии конкурса.

Павел Амнуэль (род. 1944 г. в Баку). Известный писатель. Закончил физический факультет Азербайджанского государственного университета. Первая публикация – еще в 1959 году (рассказ «Икария Альфа» в журнале «Техника-молодежи»). Автор множества научных работ, романов, повестей и рассказов. С 1990 года живет в Израиле.

Станислав Бескаравайный (род. в 1978 г. в Днепропетровске). Закончил Национальную металлургическую академию Украины (там же и работает в данный момент). Произведения автора публиковались в журналах «Порог» и «Звездная гавань». В нашем издании печатался неоднократно.

Валерий Брусков (род. в 1947 г. в Брянской обл.). Писатель, поэт, философ, художник, автор двух книг стихов, двух книг фантастики, двух книг афоризмов. Иллюстрации к своим и чужим книгам, многочисленные публикации в сборниках и периодике. Живет в Екатеринбурге. В альманахе «Полдень, XXI век» публиковался неоднократно.

Николай Васильев (род. в 1981 г. в Тюмени). В нашем альманахе произведения автора публиковались неоднократно.

Ярослав Веров (псевдоним Глеба Гусакова, род. в 1966 г. в Донецке). По образованию инженер-физик и материаловед. Автор книг «Хроники Вторжения» (2002 г.), «Господин Чичиков» (2005 г.), «Завхоз Вселенной» (2007 г.), в соавторстве с Игорем Минаковым – дилогии «Десант на Сатурн» - «Десант на Европу» (2008 г.). Опубликован ряд рассказов в различных журналах. Лауреат нескольких литературных премий.

Владимир Голубев (род. в 1954 г. в г. Кинешма Ивановской обл.). Учился в Рязанском радиотехническом институте. Писать фантастику начал в 2005 г. Печатался в журналах: «Уральский следопыт», «Порог», «Шалтай-болтай», «Безымянная звезда». В нашем издании произведения автора публиковались неоднократно.

Юрий Гузенко (род. в 1966 г.). Играет на клавишных, пишет тексты песен, придумывает к ним мелодии. Образование средне-специальное. Первая публикация - рассказ «Я возвращался домой» (журнал «Если», февраль с. г.).Живёт в с. Камень-Рыболов Приморского края. «Переписчик» - первый литературный опыт автора.

Игорь Минаков (род. в 1966 г. в Челябинской обл.). По образованию литературный работник. Первая публикация - повесть «Четвертый свиток» в нашем издании (№ 2 за 2003 год). В соавторстве с Ярославом Веровым выпустил дилогию «Десант на Сатурн» и «Десант на Европу», удостоенную в 2008 году двух «Золотых Кадуцеев» - в номинациях «Лучший дебютный роман» и «Циклы, сериалы, романы с продолжением». Работает ответственным редактором в издательстве «ЭКСМО».

Евгений Обухов (род. в 1954 г.). Автор четырех сборников веселой прозы, двух сборников стихов, сборника пьес, составитель либо участник трех десятков коллективных сборников. Член Совета по фантастической и приключенческой литературе при СП РФ. Лауреат премий «Золотой теленок» (ЛГ), «О'балдуй» (МК), а также журналов «Вокруг смеха», «Крокодил» и др. Кроме того, Евгений Обухов является Национальным достоянием России по мнению фонда «Меценаты Столетия» (золотая медаль). Работает главным редактором журнала для коллекционеров «Филателия».

Ольга Чигиринская (род в 1976 г. в Кривом Роге, ныне Украина). Прозаик и эссеист. Автор романов «Ваше благородие», «По ту сторону рассвета», «Сердце меча» и др. (в том числе и в соавторстве). В настоящий момент изучает японский язык и литературу в Днепропетровском национальном университете. Планирует заняться этим профессионально.

Содержание

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО ПО НОМЕРУ. Самуил Лурье.
3

ИСТОРИИ, ОБРАЗЫ, ФАНТАЗИИ
Юрий Гузенко «ПЕРЕПИСЧИК». *Повесть*
7
Владимир Голубев «НАБЛЮДАТЕЛЬ». *Рассказ*
55
Станислав Бескаравайный «МНЕМОКОГНИТОР». *Рассказ*
75
Валерий Брусков «АККУРАТИСТ». *Рассказ*
93
Николай Васильев «ИСТОРИЯ О БАБОЧКЕ». *Рассказ*
97
Павел Амнуэль «БРЕМЯ ПРОРОКА». *Рассказ*
101
Евгений Обухов «ТЛИМ И ГРОЗИМ». *Ироническая проза*
135

ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ, МЫСЛИ
Ольга Чигиринская
«"ПРОБЛЕМА ЖАНРА" ОТНОСИТЕЛЬНО ФАНТАСТИКИ»
147
Ярослав Веров, Игорь Минаков «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
159

ИНФОРМАТОРИЙ
Конкурс фантастического рассказа
173

Наши авторы
174

Борис Стругацкий
представляет альманах фантастики

ПОЛДЕНЬ
XXI ВЕК

Читайте в майском номере:

Повесть
Александра Волкова
«АППОЛОН-28»

а также произведения
Александра Егорова,
Ильи Кузьминова
и других авторов

1861
ВОКРУГ СВЕТА
www.vokrugsveta.ru